Библиотека журнала «Иностранная литература»

Герман Кант

Объяснимое чудо

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В сборник вошли лучшие произведения «малой прозы» Г. Канта, которую отличают ироничность и разговорность манеры изложения, острота публицистической направленности.

- Герман Кант (Hermann Kant)
  - Несколько слов к советскому читателю
  - Объяснимое чудо
  - Маленькая шахматная история
  - История и предыстория
  - Кусочек южного моря
  - Приход и уход
  - Третий гвоздь
  - Вакантное место
  - Праздничная лепта
  - Золото
  - Послесловие
  - Об авторе
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

Герман Кант (Hermann Kant)
Объяснимое чудо
Рассказы, очерки

Несколько слов к советскому читателю

Чего только не сделаешь, когда тебя просит друг! На этот раз меня попросили предпослать моим рассказам несколько слов, но ума не приложу, что надо написать. Ведь не комментарий же от меня ждут, тем более что истории эти не так уж длинны и запутанны, чтобы требовались предварительные разъяснения. Да и думается мне, что чтение доставляет особое удовольствие, если читатель сам должен или может разгадать сложный смысл красивых слов. Или простейший смысл слов порой некрасивых.

А может быть, от меня ждут клятвенного заверения, что все истории этого маленького сборника придуманы? Или происходили точно так, как здесь написано?

Подобных клятв не следует добиваться от писателя. Не только потому, что иной раз он и сам уже не знает, где кончается пережитое и начинается вымысел, — не это важно. Важно, интересен ли читателю рассказ. Достаточно ли он правдоподобен и достаточно ли невероятным выглядит. Важна его близость к обыденной жизни и его отдаленность от нее.

Но хватит перечислять критерии, ибо чем больше о них говоришь, тем больше соблазна возникает, пустить их в ход.

Лучше сообщу некоторые сведения: первые рассказы я написал в 1957 году, написал по желанию одного человека. Женщины, разумеется. Ничто так не развязывает мужчине язык, как женщина. В этом факте заключено указание на другой факт, а именно: литература — это всегда домогательство любви. Дама, которую я хотел пленить своими рассказами, была матерью моего друга Стефана Хермлина. Ее звали Лолой Ледер, в годы фашизма она нашла прибежище в Англии. И вот она вернулась и требовала от немцев ответа на тысячи вопросов.

Она хотела знать все также и обо мне, а она была из тех людей, которым все можно рассказать, все хочется рассказать.

Ко мне она относилась очень строго и очень дружески, а я очень любил ее. И когда она однажды пожелала, чтобы я записал некоторые истории, меня ничто уже не могло остановить. Сколь настойчивой слушательницей была она, столь суровым редактором и жестоким критиком был ее сын, но он был и моим ходатаем в редакции «Нойе дойче литератур», возглавлявшейся тогда Вилли Бределем. Лола Ледер разговорила меня, Стефан Хермлин следил, чтобы я не слишком заговаривался, а Бредель без долгих разговоров взял и напечатал.

Так и появились в 1957 году «Коронация» и «Маленькая шахматная история» (писались они в обратном порядке), а вскоре и другие рассказы, собранные затем в 1962 году в сборник «Кусочек южного моря».

Дружеские отклики на мою первую книгу побудили меня писать дальше. Первые рассказы привели к рождению первого романа, и последующих романов, и последующих рассказов. До сих пор мои книги (с небольшими отклонениями) появлялись ритмично: томик рассказов, объемистый роман, томик рассказов, объемистый роман. Сегодня утром, до того как засесть за эти строки, я просмотрел корректуру сборника рассказов «Третий гвоздь», а завтра я надеюсь снова сидеть за романом, еще не имеющим названия, — по-видимому, очень объемистым.

Из этого, вероятно, следует, что романы и рассказы для меня в равной степени важны. Конечно, после работы, требующей длинного эпического дыхания, дышишь тяжеловато, но было бы неверно и несправедливо думать, будто рассказы пишутся, чтобы отдохнуть от романа. Коротко ли пишешь, длинно ли — отдыха все равно нет. Изнуряет и то и другое, удовольствие доставляет и то и другое.

Это утверждение, пожалуй, дает мне прекрасную возможность закончить то, за что я взялся, выполняя дружескую просьбу. Я надеюсь, что чтение моей книжечки окажется совсем не изнурительным и доставит немножко удовольствия.

Герман Кант
Перевод Е.Кацевой

Объяснимое чудо

Все это давным-давно известно. Все эти истории похожи на множество других. Вроде бы совсем обычные. Они пришли мне на ум, заговорили во мне, когда я задал себе вопрос, с чего же все для меня началось, как родилась дружба.

С давних пор я верю, что безвозвратно уходит лишь малая частица происходящего с человеком в жизни. Воспоминания, которыми я собираюсь поделиться, еще больше утверждают меня в этом.

Ведь я говорю совсем не о провидении, предопределении и судьбе, я говорю о жизненном опыте. Думается, мой долг писателя — сохранить это пережитое, пережитое мною и многими другими.

Некоторые события, о которых я намерен рассказать, почти совсем было стерлись из памяти. И только когда я отправился по собственным следам в далекое прошлое, они вновь ожили во мне и я подумал, что они имеют отношение к делу.

Дело это — дружба. Дружба с Советским Союзом, дружба с советским народом. А коль скоро дружба с чего-то начинается, то началась она, пожалуй, так.

В одно ноябрьское утро 1944 года — всего несколько дней назад я стал электромонтером, а еще через несколько дней мне предстояло стать солдатом гитлеровского вермахта, — в это ноябрьское утро я впервые в жизни переступил порог лагеря для военнопленных. Произошло это в Злате-Зюд под Пархимом. В лагере сломался насос, и мне нужно было постараться устранить поломку.

Не помню уж, сумел ли я что-нибудь сделать, да это и не важно. Важны две мои встречи с пленными.

Конечно, я и раньше видел пленных — в юности фатерланд предоставил мне для этого массу возможностей, — однако таких, как эти, я еще не встречал.

Сохраненные памятью картины — словно серый контур на сером фоне, время все же не стерло их яркости. Они подарили мне необыкновенное.

Они помогли справиться с бедой и жалостью к себе, которые чуть было меня не сломили, когда я сам попал в плен. А случилось это через несколько недель после того ноябрьского дня в Злате-Зюд. Этим картинам я обязан первыми проблесками чувства справедливости. Теперь я знал, как могло быть, что могло случиться, если бы дошло до возмездия: око за око, зуб за зуб.

Но я видел пленных советских солдат не только в продымленной призрачности, не только в их ужасающем настоящем, перед лицом которого смолкала даже наглость восемнадцатилетнего мальчишки. В тот день я увидел там одно изображение, странно, но образ этот запечатлелся в памяти гораздо ярче, чем жалкая действительность. То был карандашный набросок размером с ладонь на одном из цилиндров насоса. Он был сделан совсем недавно, автор очистил от грязи кусочек стенки, и вот передо мной четкие, точные штрихи на оцинкованной поверхности цилиндра. Рисунок изображал молодого солдата в островерхом шлеме со звездой и в длиннополой шинели, с винтовкой на плече. Он застыл как на посту, красивый и сильный.

Я понятия не имел, что такое искусство, но почувствовал, что это произведение мастера. То был зов иной, более глубокой истины, которая была сокрыта под слоем окружающей убогости. То было воспоминание и в то же время предвидение; для автора оно стало опорой, а мне — созерцателю — нанесло весьма своеобразный удар: я воспринял заключенное в рисунке послание и испугался — ведь угроза была адресована мне. Но с глубочайшим изумлением я ощутил, как во мне шевельнулись уважение, восхищение перед незнакомцем, перед моим плененным врагом, который с карандашом в руке защищался в этом аду против страха и отупения.

Я уже говорил, что не помню, починил ли я насос. Но одно знаю, и этого у меня никому не отнять. В тот день я начал устранять одно из нанесенных мне в юности повреждений: с тех пор я уже не был способен на настоящее презрение к врагу, которое мне упорно внушали, особенно если враг был родом из восточных краев.

Нет, рисунок не сделал со мной большего, но человек, знающий мир, к которому принадлежал этот ад, и тот каменный век, в котором я вырос, поймет всю разительность перемены.

А дальше? Дальше все продолжалось, собственно говоря, также исподволь, не слишком бросаясь в глаза. В последний январь войны я попал в плен, в Польше, к тем самым солдатам со звездой на шапке. Должно быть, я плакал бы, кричал и умолял, если б они захотели меня убить, но в одном уверен — я бы не удивился.

Ведь наши фюреры мрачно обещали: когда они придут, ты будешь убит! А между тем, прошагав от Злате-Зюд до Польши, я насмотрелся многого и понял, что у врага предостаточно оснований, чтобы в порыве благородной ярости стереть с лица земли и меня и мне подобных.

А они вытащили из меня осколок, отогрели меня, лечили мои обмороженные ноги, язвы, дали мне крышу над головой и одежду, накормили и заставили задуматься, очень серьезно задуматься.

Знаю, чудесное спасение рождает легенды, и еще знаю, что во всех легендах герои похожи друг на друга, — и все же не могу (и не хочу) ничего менять. В моей истории есть советская женщина-врач, которая — хоть раны были явно пустяковые — забрала меня из колонны, потому что моя фамилия была для нее прежде всего фамилией немецкого философа… Есть в ней и часовой: он отвел руку с винтовкой, которую его товарищ весьма недвусмысленно сунул мне под нос. И еще один солдат, тот, кто на мосту через Варту в Конине так меня двинул, что в глазах потемнело, а когда тьма исчезла, я увидел, куда он смотрел: накренившийся, вмерзший в реку танк, а рядом, словно распятый во льду, застывший, совсем еще юный солдат.

И еще: в меня чем-то запустили с мчащегося поезда, предмет угодил в голову, и я на какое-то время потерял сознание. Очнувшись, я увидел, что снарядом был круглый хлеб, который мои товарищи успели порядком обгрызть.

А уже в плену, в самом конце, я снова лицом к лицу встретился со смертью. Мы меняли болты на железнодорожном полотне, когда — как это нередко бывало — возле нашего участка остановился эшелон. Освобожденные из фашистских лагерей пленные — кто знает, быть может, и из Злате-Зюд — возвращались через Польшу домой, в Советский Союз. Военнопленные и просто угнанные в Германию.

Один из них подошел к конвоиру, поговорил с ним и сказал мне по-немецки, что хочет взять кое-какие инструменты и я должен пойти с ним, а потом забрать инструменты назад.

Как это ни тяжело, придется сознаться, что я, глупо коверкая слова, завел один из тех разговоров, которыми стремятся завоевать благосклонность собеседника, не требуя от него при этом особого умственного напряжения. Я заискивал перед ним, повторяя на ломаном немецком: «Ты ехать домой, ты чувствовать хорошо!»

«Да, — сказал он, — мне хорошо». А потом он и двое его спутников начали копать яму, достаточно широкую и глубокую, чтобы стать могилой двухлетнего ребенка. Эшелон стоял ровно столько, сколько нужно было на скорые похороны, страшный плач женщин и мрачные взгляды мужчин. Ровно столько, чтобы отдать мне инструмент, а в придачу ломоть хлеба и кусок колбасы.

Эшелон стоял ровно столько, чтобы я на всю жизнь запомнил, что такое стыд.

Только поймем друг друга: я ведь тоже знаю, что наша дружба с давних пор уходит корнями в нечто большее, нежели вина и стыд, великодушие и прощение. Я кое-что знаю о политике и о ходе истории, об интернационализме и социалистической взаимопомощи, о классовой борьбе и солидарности и о том, что мы теперь товарищи. Знаю, что рассказываемое мною давно стало для молодежи наших стран историей.

Но история — это часть жизни, она не умирает. И мы должны осознавать ее, если хотим сохранить ясность сознания.

Быть может, тот, кто в канун тридцатой годовщины освобождения приходит на могилы советских солдат, знает, что у нас в стране больше шестисот таких кладбищ. В одном только Берлине похоронено двадцать тысяч советских воинов; только за последние три недели войны Советская Армия потеряла еще триста тысяч человек.

Воображение не в силах представить себе такую массовую смерть. Но смерть эта слагается из трехсот тысяч страшных частиц, и разум может разложить ее на триста тысяч кровавых отдельных смертей.

Во всяком случае, стоит мне заметить, что цифры и факты не доходят до меня, я поступаю именно так. Представляю себе кого-то одного, скажем, молодого учителя из Ленинграда или крестьянина с Дона. Прекрасное воскресное утро в июне сорок первого оторвало его от семьи и швырнуло в, казалось, бесконечную череду удушья и ярости, страха и боли, крови и холода, голода и жары, вони пожаров и смерти. Он вынес все — четыре года и две тысячи километров, — а потом на окраине Вернойхена, за церковью в Пренцлау, в деревушке на холмах Флеминга или на Франкфуртер-аллее его настиг смертельный удар; выстрел такого, как я, сразил человека, пришедшего освободить меня и таких, как я.

Я прекрасно понимаю, что и он, и большинство других, лежа под огнем таких, как я, в общем-то не особенно задумывались над моим освобождением. С чудовищной яростью они защищали свою жизнь, они хотели жить, враг напал на них, и они гнали его назад, в логово, им было не до мыслей об освобождении врага.

И все-таки они его освободили.

Таков ход истории: связь и переплетение мотивов, смена ролей и функций, сложение беспредельных сумм. Те, на кого напали, поруганные и измученные, стали освободителями и освободили не только самих себя, но и нас. Мне кажется, мы поняли многое из того, что натворили в истории и что в ней произошло с нами. Поэтому дружба нашего и советского народов представляется нам столь удивительной. Конечно, события можно

измерить, пересчитать, датировать, описать их причины и следствия — и тем не менее каждому, кто хочет охватить эти события во всей полноте, следовало бы усмотреть в них частицу чуда.

Чуда объяснимого и в этом смысле совсем не волшебного. Это исторический процесс, корни которого следует искать в идеях и принципах социализма.

В идеях и принципах… И в известных всем, вроде бы совсем обычных историях, похожих на множество других.

1975 г.
Перевод М. Федорова

Маленькая шахматная история

Вот вы говорите, когда играешь в шахматы, нельзя думать ни о чем, кроме шахмат! Легко сказать! Со мной раз было — о чем я только не думал во время игры, а мне бы все извилины напрячь, чтобы выиграть. Да, дорогой мой, мне нужно было выиграть, даже очень нужно.

И деньги здесь были ни при чем, да и кто в шахматы на деньги играет? Нет, тут, надо сказать, речь шла о совершенно других вещах, гораздо более важных. Ах, это довольно длинная история. Мы тогда, знаете, в лагере сидели. И шахматы заменяли нам почти все, чем обычно люди заняты, когда не работают, не спят и не едят. Насчет кино, театра, радио, книг, спорта или там любовных приключений нечего и думать: война недавно кончилась, и полякам, у которых мы сидели в лагере, хватало других забот, кроме организации досуга немецких военнопленных. Но уж так, наверное, человек устроен, что не может долгое время обходиться без какого-нибудь развлечения: Конечно, находились и такие, что играли в скат и в мельницу, но их было немного, и тот, кто думает, что если уж немцы, то непременно игра в длинный скат, в нашем лагере он изменил бы свое мнение. У нас большинство играло в шахматы, все-таки это был не просто способ убивать время. Шахматы эти были как зараза, извините за грубое сравнение, и пусть бы кто попробовал через час после конца работы, когда все уже вымылись и поели, зайти в барак, горланя «Белую черемуху» или другой какой шлягер, — в одну минуту бы вылетел оттуда!

К этому времени все мы уже сидели за досками, а кто не сидел, рядом стоял и болел, потому что постоянно шло какое-нибудь первенство: или барака, или блока, или лагеря.

У лагерных ворот мы повесили большую доску, и вечером, возвращаясь домой (домой, конечно, сильно сказано), словом, возвращаясь с работы, всегда останавливались у этой доски, чтобы прикинуть по турнирной таблице свои шансы.

Но потом наступило такое время, когда эта доска кое-кому из нас прямо глаза колоть стала. Все это, конечно, не очень понятно, но я вам разъясню: несколько человек из тех трех тысяч, что сидели в лагере, в один прекрасный день вдруг сообразили, что шахматы хоть и хорошая вещь и мозги они здорово развивают, однако пора бы заняться чем-нибудь более полезным. Тогда они начали заниматься политикой, и тут уж, сами понимаете, миру в лагере пришел конец.

Я вижу, вы киваете головой, эти нарушители спокойствия и у

вас вызывают чувство негодования, шахматная атмосфера, о которой я рассказывал, вам как раз по душе, по-вашему, пусть бы все так и оставалось, правда?

Но я должен вас еще больше огорчить, потому что ваш покорный слуга и постоянный партнер по четвергам был как раз одним из тех, кто на эти шахматы стал смотреть косо.

Как я к этому пришел — уже другая история, сюда она не относится, скажу только, что я был самый молодой из той шестерки пленных, которые в один прекрасный день организовали Антифашистский комитет рабочего лагеря «Варшава», и буквально в одну ночь из ревностных приверженцев шахмат превратился в их рьяных противников.

Нет, я вовсе не считаю, что шахматы принципиально несовместимы с политикой, просто тогда возникла, как говорится, особая ситуация.

Мы — члены антифашистского комитета — скоро поняли, что вся наша политика гроша ломаного не стоит, если мы будем заниматься ею вшестером. Чтобы вышел какой-нибудь толк, должны участвовать все, считали мы, и вот тут-то на нашем пути встали шахматы.

Поначалу нас регулярно выставляли из бараков, когда в воскресенье утром или после работы мы пытались просвещать своих товарищей, поглощенных потерей ферзя или угрозой мата, насчет международного положения или источников прибавочной стоимости, но если бы одно это, нет, дело было гораздо хуже — они ставили нам мат, опираясь на свой же собственный шахматный опыт.

Все это будет понятным, только если иметь в виду, что шахматная лихорадка в тот момент как раз достигла своего апогея и, исключая нас шестерых, ею захвачены были все поголовно. Вы ведь знаете, что, когда слишком много играешь, в голове все начинает крутиться вокруг шахмат: видишь, например, впереди клетчатую рубашку, и на ум сразу приходит какой-нибудь великолепный индийский гамбит; мысли скачут, что твой шахматный конь, а заметишь, как двое, повстречавшись, разошлись в разные стороны, и невольно в мозгу промелькнет — рокировка.

И еще вам надо знать, чтобы оценить всю трудность нашего положения: результат каждого командного первенства, собственно говоря, был известен заранее, имелся только один фаворит — команда офицеров. Такое положение казалось совершенно естественным: ведь, согласитесь, все эти бывшие учителя, юристы, земельные советники в большинстве своем имели гораздо лучшую подготовку, чем разные там каменщики,

сельскохозяйственные рабочие и шоферы, из которых в основном и состояла масса простых солдат, теперешних пленных. А кроме того, надо учесть, что офицеры, в отличие от всех нас, не должны были работать, они состояли в лагерной пожарной команде и поэтому могли целый день сидеть над шахматами. Причины-то причинами, но когда мы говорили, что наступило время самим делать политику — как мы тогда выражались, «самим решать свою судьбу», — или агитировали за будущее рабоче-крестьянское государство, то против нас всегда выдвигали один и тот же аргумент: «Для такого дела у рабочих котелок плохо варит, это и по истории видать (перестань, какое нам дело до русских!), и по шахматам тоже. Стоит на турнирную таблицу посмотреть: офицеры против шестого барака — 10:0, офицеры против второго барака — 10:0, офицеры против четвертого барака — 8:2, что ж, бывает, и слепая курица зерно отыщет. Шахматы — это лучшая проверка на мозги, и офицеры тут намного впереди, так было и так будет, и в шахматах, и в вашей дурацкой политике!»

Это я и имел в виду, когда говорил, что наши товарищи ставили нам мат, опираясь на свой собственный шахматный опыт.

Какой толк был в том, что мы пытались объяснять про социальные условия и предрассудки, факты — вещь упрямая, и факт оставался фактом: офицеры выигрывали все первенства, а мы имели дело с шахматными фанатиками.

И тут Ханс принес нам проект постановления, да, представьте, это у нас уже и тогда было! Ханс предлагал, чтобы мы, члены Антифашистского комитета рабочего лагеря «Варшава», постановили выиграть не больше и не меньше как предстоящий лагерный чемпионат. Свое предложение он обосновал в длинной речи, в которой много было фраз вроде — «врага нужно бить его же собственным оружием», «массы следует учить на их собственном опыте» и, конечно же, «классовая борьба требует».

Ну да, вам сейчас хорошо улыбаться, а нам тогда было не до шуток, мы обсуждали проблему со всей серьезностью.

Я с самого начала считал: это как раз то, что нам нужно, хотя в те времена, думаю, я бы и по-ацтекски выучился говорить, и фокусам индийского факира, если бы классовая борьба потребовала. А вот другие…

Хуже всего обстояло дело с Флорианом. Флориан был рабочим-литейщиком из Вюрцбурга. Но глядя на него, вы бы этого не сказали, я имею в виду, не сказали бы, что у человека такая тяжелая профессия; его можно было принять за старого жокея — тщедушный он был и седой. Но в этом Флориане сидело

чертовское упрямство, и не дай бог вывести его из себя! Вы бы на него посмотрели после того, как Ханс выступил со своим замечательным предложением!

«Чистый оппортунизм! — орал он. — Отступление! Соглашательство!» В своей речи он перебрал все возможные виды уклонов, присовокупив к уже нам известным несколько им только что изобретенных, по вредности превосходящих любые другие. Во всяком случае, ясно было одно: он, Флориан Вайденбахер, никогда на такое не пойдет: до сих пор политика всегда делалась политическими средствами, а не какими-то дурацкими играми.

Он так и заявил: «дурацкие игры». Ясное дело, Флориан был сектантом. Нечто в таком роде Ханс ему тогда, кажется, и сказал, потому что Флориан после этого несколько дней вообще с нами не разговаривал. Видно, задели больное место, он ведь вечно упрекал себя, что было время, когда он вел себя как сектант. Короче, спустя неделю, которая прошла в самых бурных дискуссиях, когда мы голосовали за предложение Ханса, Флориан с ворчанием, но тоже поднял руку: «Принято единогласно».

Тут уж, знаете, нам пришлось потрудиться, ведь согласно «шахматному постановлению» мы не только должны были под руководством Ханса заниматься каждый вечер изучением дебютов и эндшпилей, оно дополнительно обязывало нас «развернуть культурную работу с целью ликвидации односторонней ориентации последней исключительно на игру в шахматы». И мы развернули, да еще как!

Мы организовали кружок по изучению Гёте и Гейне, начав не с чего-нибудь, а сразу со второй части «Фауста». Мы отыскали певцов и поэтов, художников и декораторов и осуществили великолепную постановку «Белого коня»[1]…

Мы создали футбольную команду и нечто вроде «Общества по распространению научных знаний». Мы делали все, чтобы остановить шахматную эпидемию, и одновременно тренировались к будущему чемпионату. Вилли, который в таких вещах разбирался, утверждал, что это диалектика.

Финал Большого кубка «обоза праци» («обоз праци» значило «рабочий лагерь», а кубок представлял собой вазу для цветов, происхождением которой лучше было не интересоваться) назначили на пасху, поэтому в ту весну спать нам шестерым приходилось мало. Ханс требовал, чтобы варианты испанской защиты или защиты Нимцовича выучивались назубок лучше чем когда-то школьные теоремы, да и все остальное, как мы считали, без нас бы заглохло. Поэтому, когда мы не были заняты Алехиным или Капабланкой, то сидели по углам и учили роли или подыскивали наглядные примеры для иллюстрации «научных

докладов».

Да, то был, поверьте, адский труд, и, если бы Ханс постоянно не напоминал нам, что принятое решение надо выполнять, не знаю, что бы из этого вышло. Хуже всех по-прежнему было с Флорианом. Он мог, например, репетируя отрывок с хором лемуров во время погребения Фауста — о сольной партии он и слышать не хотел, — разразиться проклятиями в адрес «уклонистов». Занимался он с постоянным внутренним протестом, и по теории Вилли это тоже была диалектика.

«Революция всегда идет прямым путем! — говорил Флориан. — Всякие уловки — метод реакционеров. Мы врага встречаем лицом к лицу и не отступаем перед ним!»

Но это были одни разговоры, а когда в отборочных играх наша маленькая команда садилась за доски, он добросовестно сражался, потому что принятое решение есть принятое решение. За доской его не посещали блестящие идеи, как Ханса или Мартина, нашего пастора, ему чужды были наивные хитрости, которые пытался применять я, но он, хоть и злился на это недостойное занятие, играл всегда спокойно, вовремя вспоминал что нужно из теории, короче, он справлялся с «дурацкой игрой» как с неприятной, но важной работой и набрал для нас много очков.

Так мы добрались до финала; противниками нашими были, как и следовало ожидать, офицеры. Однако еще до начала решающего матча возникли новые осложнения. Не знаю, что это вдруг стукнуло Хансу в голову, но только накануне решающей битвы он вдруг взобрался на стул в шестом бараке — он вел там дискуссию об уничтожении монополии на образование — и заявил, что все эти, которые, кроме шахмат, ничего не видят и думают, что мозги проверяются только на шестидесяти четырех клетках, пусть приходят завтра утром в клубный барак и там своими глазами увидят, как мы, такие же, как они, простые солдаты и рабочие, побьем офицеров.

Насмешки и издевательства, посыпавшиеся на него в бараке, — это были еще цветочки по сравнению с тем скандалом, который устроили Хансу мы. Что это он себе думает? До сих пор мы продвигались вперед медленно и незаметно, и никто не удивился тому, что мы вышли на второе место. Ясно ведь, что после офицеров какая-нибудь команда должна была занять второе место. Если бы мы и проиграли офицерам, в этом не было бы ничего особенного. Во всяком случае, до сего момента. Но теперь… Теперь выиграть надо было обязательно, иначе с нами всё. «Гляньте-ка на этих хвастунов, на этих выскочек, они офицеров побить хотели, ха, ха!»

Ну и тут, конечно, снова Флориан! Флориан был в ярости. Это же надо, чтобы именно ему так повезло: Ханс и толстый капитан Цандер — капитаны наших команд — договорились, кто с кем будет играть, и Флориану достался «полполковник». Этого полковника звали «полполковником», потому что он потерял погон и теперь гордо носил оставшийся, слегка приподнимая плечо. Его приняли в команду больше из уважения, потому что он отнюдь не был мастером. Как объяснил капитан Цандер, полковник просил дать ему в противники кого-нибудь постарше. Постарше был Флориан.

«С этой штабной крысой, — кричал Флориан, — с этим юнкерским отродьем я должен сесть за один стол, да еще в игры играть! Вот до чего может довести человека дисциплинированность и ваш оппортунизм. Поставили бы меня рядом с ним на трибуну, собрали бы весь лагерь и устроили дискуссию, я б ему показал! Так нет же, я должен с ним играть! Жать ему ручку: «Пожалуйста, господин полковник, у вас первый ход!» Может, мне с ним и в кегли прикажете играть? Вот до чего можно докатиться, если идешь на уступки, если, вместо того чтобы атаковать, пятишься назад. Бить их надо, и все тут!»

«Давай, — сказал Ханс, — завтра же на шахматной доске».

Да, дорогой мой, с таким вот настроением пасхальным утром мы отправились в клубный барак.

Если бы Ханс и не сделал своего хвастливого заявления, там все равно было бы полно народу, а теперь уж и вовсе каждый квадратный сантиметр был занят, кроме, конечно, мест для двенадцати игроков. Даже во дворе перед бараком стояла толпа людей. Для них на наружной стене была вывешена большая демонстрационная доска, которую одолжили ради такого случая у столяров. На ней должны были фиксироваться наиболее интересные моменты финального турнира.

Прачечная выдала две чистые простыни, которыми застелили столы, а между досками стояли даже цветы.

Турнир начался, первый ход был у офицеров.

Что вам долго рассказывать: когда все кончили первую партию, подошло уже обеденное время, а ясности никакой не было.

Ханс и наш пастор свои партии выиграли. Это было уже кое-что, ведь их противники, Цандер и один майор люфтваффе, считались шахматными королями лагеря. Вальтер, который никогда и ничем не рисковал, проиграл, и Вилли тоже. Вилли-то проиграл из-за своего «диалектического» метода. Во всяком случае, так он называл свою сумасшедшую манеру шуровать на доске вопреки всем доводам разума. У своего противника,

старшего учителя, игравшего достаточно педантично, он такими действиями ничего не мог добиться.

Я тоже проиграл. Меня душила петля, которую Ханс своим хвастовством затянул у нас на шее. Я больше следил за фигурами противника, чем за своими собственными. В конце концов, пожертвовав турой и получив взамен всего лишь пешку, я вынужден был признать себя побежденным в первом раунде «классовой борьбы».

А Флориан? Флориан сражался яростно. Он рвался вперед, он наступал. Полполковнику, который хотел себе в противники кого-нибудь постарше, с Флорианом явно не повезло. То, что он должен был играть в шахматы со штабной крысой, а не делать политику, — этот позор и злость, которую вызывало в нем такое соглашательство, буквально окрыляли ходы Флориана. Он выиграл красиво.

Итак, когда объявили перерыв, счет был 3:3.

Нельзя сказать, что на обед мы шли с высоко поднятой головой, в особенности я, но все-таки на первых порах нам удалось вывернуться.

Когда мы возвратились с обеда, толпа перед клубным бараком заметно увеличилась. Кто-то крикнул: «Ну-ка покажите им!» И что удивительно, никто не засмеялся.

Теперь мы играли белыми, и в помещении стояла такая тишина, что слышен был лишь стук переставляемых фигур да иногда через открытые окна доносился гул голосов «болевших» во дворе.

Офицеры уже поняли, что лавровый венок на этот раз висит чуть выше, чем обычно, и заиграли на всю катушку. Когда зажгли свет, закончены были только две партии; пастор и летчик сошлись на ничьей, а старший учитель спокойно и методически расправился с Вилли.

Счет стал 0.5:1.5 в пользу офицеров. Затем поднялись Ханс и капитан Цандер; по тому, как капитан, поклонившись, пожал Хансу руку, я понял, что Ханс сравнял счет.

Чуть позже Вальтер рядом со мной тихо, но с непередаваемым торжеством произнес: «Мат!» Он превзошел самого себя и навязал лейтенанту Лауфферу — хитрой лисе — ничью: 2:2. На этот раз я был на пути к победе. Только мне не надо было этого знать. Но я знал и потому потерял голову. А вскоре и коня, который составлял все мое преимущество над противником. Поэтому я должен был радоваться, что дело кончилось хотя бы ничьей.

Итак, счет стал 2.5:2.5, а общий 5.5:5.5. Оставались только Флориан и полполковник. Оба старика сражались так, словно

речь шла о жизни и смерти. Флориан, как и в первой партии, сразу же начал наступать, но на этот раз полполковник был начеку. Он как будто представлял себя снова в дивизионном штабе, а пешки, которые он осторожно передвигал по доске, казались ему ротами и батареями. Он так укрепил позиции вокруг своего короля, словно это был последний рубеж долгой войны, и его ладьи, как тяжелые мортиры, угрожали атакующим отрядам Флориана.

У Флориана дело застопорилось. Он вел игру под девизом «Вперед, только вперед!», «Атаковать, атаковать и разгромить», а теперь он стоял перед неприступными укреплениями, воздвигнутыми полполковником, который, без сомнения, сделался опять полным полковником, и дальше Флориану ходу не было.

Флориан буквально скрежетал зубами, но это ему не помогало. Он наверняка ничего не знал об исходе других партий, не знал, что от него теперь зависело, проиграем мы, выиграем или будет ничья, ведь он ни разу не поднял глаз от доски. И уж конечно, он не думал больше о том, почему мы начали эту борьбу, почему должны были выиграть.

Он видел только, что полполковник, эта штабная крыса, его остановил и что очень скоро залп вражеских орудий обрушится на его позиции.

И тут Флориан начал отход. Те свои пешки, которые были обречены, он разменял, а остальные, как мог, прикрыл. Он маневрировал и с невероятной осторожностью, шаг за шагом, отступал, стремясь занять лучшие позиции. Полковнику казалось, что близится его великий час, и он упорно преследовал Флориана, но тот ускользал от его ударов.

Но потом, что же он сделал!.. Стон прошел по бараку; мы все были дисциплинированными болельщиками, но это уже было слишком! Флориан, нападающий и атакующий, враг всяческих отступлений, сделал ход пешкой, и все увидели, что ферзь, ядро его обороны, должен неминуемо пасть.

И полковник это увидел. Он словно скомандовал по телефону, связывавшему его с сотней тяжелых батарей: «Огонь!» — и двинул своего слона по диагонали.

Флориан кивнул и снова пошел пешкой.

«Мат в три хода», — произнес он и слегка выпрямился.

И до сих пор царила тишина, но теперь уже все просто застыли. Прошло довольно много времени, затем полковник встал и поклонился Флориану. У него был такой вид, словно он второй раз сдается в плен.

Не стану утверждать, что после этого выигранного

чемпионата все в лагере вдруг превратились в антифашистов, но работать нам стало немного полегче. А все потому, что Ханс дал сигнал к наступлению, а Флориан, отступая, одержал победу.

Сыграем еще одну, дорогой сосед?

Перевод И. Щербаковой

История и предыстория

В этот раз больница была на окраине Москвы, зима подходила к концу, я имел здесь стол и дом, меня лечили дружелюбные и внимательные люди.

Что это? Вводная фраза, которая только уводит от темы? Дальше видно будет. А впрочем, могу сразу сказать: тот, кто не понимает, в какой мере наша годовщина связана с этой самой Москвой, тот, должно быть, не усвоил либо школьных уроков, либо уроков истории.

Есть некая параллель, и весьма красноречивая: в феврале, марте и апреле сорок пятого года я лежал в советском госпитале, а в феврале, марте и апреле семьдесят девятого — в советской больнице.

Помнится, тогда меня лечили далеко не так заботливо, однако же лечили. А то бы не миновать мне гангрены.

Без решительного вмешательства медиков во вражеской форме я бы наверняка подох. И так было с тысячами и тысячами, одетыми в такую же, как я, форму, если бы не враг с его лекарствами и процедурами.

Кое-кому из моих друзей не понравится, что я говорю «враг». Перед лицом дружбы, которая связала нас в последующие годы, им не хочется вспоминать о кровавой стороне правды. Но крови в этой правде было очень много. А нашим нынешним противникам не нравится, что мы произносим слово «дружба», когда объясняем, какие чувства испытываем к Москве, к москвичам, к Советской стране и ее жителям. Им не нравится наша правда. И это в порядке вещей.

Сначала факты, потом я задам вопрос. Не спрашивая, хотим мы того или нет, почти насильно той далекой весной сорок пятого, когда от конца войны мир еще был отделён многими тысячами убитых, нам возвращали здоровье. Лечили в приказном порядке. Несмотря ни на что, дарили надежду. Живи, курилка! Вот вам факты, а теперь вопрос: как мы поступали с советскими пленными, когда они нуждались в медицинской помощи? Говорить прямо? Мы оставляли их подыхать.

Знаю, знаю, у каждого из нас есть родственники, которые любят рассказывать нам, как они помогали, кто бы человек ни был, а наши отцы были сама доброта, когда этого никто не мог видеть.

Я не ставлю под сомнение тот или иной великодушный поступок какой-нибудь доброй тети, я знаю, что и среди наших отцов находились мужественные люди (конечно, здесь речь не о

беспримерном мужестве тех, кто в борьбе с фашизмом рисковал всем, в том числе жизнью). Только надо знать, что требовалось почти невероятное мужество, чтобы перевязать истекающего кровью человека, если он был родом из Киева или Ленинграда. И надо помнить, что подобное мужество встречалось совсем не так часто, как это можно подумать, слушая болтовню родственников.

На самом деле, и об этом речь, «народная общность», к которой мы давали себя причислять, была нацелена на уничтожение других народов. В принципе, программа была — убийство.

К чему теперь, именно теперь эти воспоминания? А к тому, что нет смысла праздновать нашу годовщину, если со всей беспощадностью не говорить о нашем прошлом. Да, с образованием ГДР дух антифашистского сопротивления сделался идейной основой антифашистской государственной власти. Но наша республика ни в чем бы не отличалась от любой другой, если б именно сегодня, в годовщину ее образования, мы не сказали бы о том, что большинство ее граждан, принадлежащих к старшему поколению, принимало активное или пассивное участие в фашистской войне.

Мы считаем 7 октября поворотным моментом в немецкой истории. Это правильно, но крутой поворот делают не только, чтобы к чему-то прийти, но и чтобы от чего-то уйти. И именно поэтому мы с добрым чувством оглядываемся на путь, пройденный нашим государством: в нем людям виновным дана была возможность оторваться от прошлого и переродиться.

После этого вступления, которое можно было бы и не делать, снова больница на окраине Москвы. Километрах в двенадцати на восток отсюда стоит памятник: противотанковые заграждения — ими обозначено место, где ранней зимой сорок первого остановили, а затем заставили отступить немецких захватчиков.

Поистине не нужно обладать каким-то особенно острым восприятием истории, чтобы увидеть связь между своей судьбой и этим памятником, если вблизи от него тебя лечат люди, уничтожение которых было когда-то твоей задачей.

Странно, однако, что из всего здесь происходившего мне почему-то сразу вспоминается один довольно глупый и комичный случай.

Военный музыкант К. получил приказ отправиться в Москву, чтобы дирижировать триумфальным маршем на параде в честь победы Великой Германии. Его, правда, удивило поспешное движение войск, в направлении, противоположном фронту, но, поскольку фюрер лично приказал ему протрубить Баденвейлерский марш на Красной площади, он не отклонился от

своего маршрута. Когда же какие-то солдаты, одетые в непривычную форму, остановили его автобус и сунули ему под нос автомат, немецкий музыкант К. сумел пролепетать только одну фразу, столь же гениальную, сколь и идиотскую: «Я — никс зольдат, я — трамтамтам!» Идиотизм ее доказательств не требует, а гениальность — пожалуй: господин К. нашел именно те слова, которые позволили ему сыто и благополучно дожить до конца долгой войны и до начала мира — пусть он никогда не кончается.

Я всегда смеялся над дурацкими и вместе с тем полными смысла словами музыканта К. и, наверное, и впредь буду смеяться. Но тут произошло со мной вот что: в газетном киоске больницы, стоящей неподалеку от того места, где задержали господина К., я купил номер «Юманите» и увидел в нем фотографию, которую знает или должен знать каждый. На ней видна яма, полная трупов только что расстрелянных людей. На краю ее на корточках человек, которого сейчас расстреляют. За ним стоит эсэсовец — он целится и через секунду отправит сидящего к лежащим.

Это чудовищная и одновременно необычайно важная фотография. Она выхватывает преступление из скрывающей его анонимности. Она возвращает фашизм к конкретной личности, к конкретному человеку, тогда как сейчас это понятие уже почти заняло место в списке стихийных бедствий, природных сил и мифических катастроф. Фашизм — нечто вроде потопа или апокалипсиса.

На фотографии, которую всем нам нужно знать, он снова становится ординарным в самых разных значениях этого слова: «упорядоченным, обыкновенным, обиходным, низменным, подлым».

Почему же от глупой истории с музыкантом перешел я к этой страшной фотографии? Потому что в больнице, недалеко от того последнего рубежа, где перед Москвой остановили немецких завоевателей, я рассмотрел ее внимательнее, чем прежде. На снимке человек, который знает, что в следующую секунду умрет. Перед ним лежат те, чей черед пришел раньше. За ним стоит тот, кто сейчас отправит его к остальным. Но есть и зрители.

Можно различить по крайней мере пятнадцать солдат, и, поскольку над правым нагрудным карманом у них орел, они принадлежат к вермахту, а не к СС. На лицах интерес. Офицер, кажется, не одобряет происходящего, а в остальном группа с таким же успехом могла стоять вокруг гончара, который лепит вазу.

Но ведь они-то являются свидетелями убийства. А у одного из

них — молодого толстощекого ефрейтора — галуны военного оркестра, и, окажись он в плену, тоже, наверное, стал бы уверять, что он «нике зольдат, он трамтамтам». И если ему дорога была его жизнь, он никому не сказал бы о том, что видел, стоя рядом с палачом.

А сейчас довольно о нем. Поговорим обо мне и немного обо всех нас. Я часто видел эту фотографию. Я знал много рассказов, иллюстрацией к которым могли бы служить подобные снимки. Но пребывание в больнице на московской окраине воспоминание о времени, полном ужасов, виновниками которых были мы, глупый и смешной эпизод с музыкантом и новая встреча с вроде бы знакомой фотографией укрепили мою убежденность в том, что мы должны снова и снова вслушиваться в старые истории, иначе мы не поймем новых. Мы должны вновь и вновь вглядываться в старые фотографии, иначе не разглядим новых. Мы должны считать все годы, иначе наши тридцать лет нам не засчитаются.

Любовь Ивановна, массажистка из больницы на западной окраине Москвы, рассказывала: «Через пять дней после моего экзамена на медицинских курсах и через день после нашего выпускного вечера, в Ростове-на-Дону это было, пришли вы… немцы пришли. Сначала я была санитаркой в роте, а потом сестрой в медсанбате. Иногда мне кажется, что я всю войну пешком шла. Это не так, конечно. Сначала от Ростова к Волге, а потом от Волги до Циттау. Красивый город Циттау, до чего же красивый. Все такое маленькое, аккуратное. Я там с тех пор не была, не довелось. Берлин я тоже видела, и рейхстаг, но там все разрушено было. А вот в Циттау нет. Я бы там остаться могла, до того мне понравилось. Представляете, казачка в Циттау. Там наш медсанбат стоял, и вот как стрелять перестали, так и спешка жуткая кончилась. Я считаю очень неправильно, что иногда про хирургов говорят, будто они, надо не надо, сразу ампутировали, и все. Несправедливо это. Ведь там же врач не мог, как здесь, консилиум созвать. Кто воевал, тот знает, как было. Быстрей, быстрей, ждать некогда. Либо сейчас ногу резать, либо потом всего парня — в могилу. Когда мы в Циттау победу праздновали, наш главный сказал: да, если бы не война, мы могли бы работать, как в мирное время. Думаете, ему удовольствие доставляло какому-нибудь молоденькому пареньку обе ноги отнимать или пожилому — руку до плеча. Если бы у нас время было для мелких операций, ванн, грязей, массажа, но времени-то не было. Вы не поверите, но я обо всех этих руках и ногах думала, когда после войны на вечерние курсы массажа пошла. Этим вот и занимаюсь уже двадцать восемь лет. А вы в Циттау бывали?»

В Москве я часто думал об одной из трудностей, с которыми

сталкиваешься, когда пишешь роман: в своей последней книге я хотел рассказать о вполне понятной неприязни, которая неожиданно обернулась взаимной симпатией, — между молодым немецким пленным и докторшей из Баку.

Над этим эпизодом я ужасно мучился, потому что понимал, как близок он к штампу, но все же не хотел отказаться и от этой частицы правды. И от другой частицы правды, состоящей в том, что в таких ситуациях многим из нас вылечивали не только руки-ноги, но отчасти и душу.

Между тем этот эпизод уже написан. Я не особенно им доволен, да это и опасно, когда тебе слишком нравится то, что написал, и я не вспоминал бы здесь этой истории, если б за давней военной встречей, за моим романом, не последовала новая встреча. Весной семьдесят девятого я не мог не вспоминать о весне сорок пятого.

Пожалуй, я не слишком доволен и только что написанным. Уж очень я усердствую, прямо скажем. Однако мысли все верные. Не знаю, какова судьба врачей, о которых я хотел рассказать, но я уверен, что желание написать об их нынешних коллегах столкнет меня с новыми творческими трудностями: когда про них вспоминаешь, невольно впадаешь в патетику.

Кстати, в Москве тогда тоже шел снег, но здесь это ни для кого не было неожиданностью, наверное, потому, что была зима. Когда в апреле выглянуло солнце, оно растопило сугробы по краям дорожек и положило конец нивелировке: то, что казалось снежной равниной, снова превратилось в парк с кустарниками, скамейками и прудом. Появились серые белки, и в один прекрасный день к вороньему крику примешалось пение птиц. Только там, куда не проникали лучи солнца, снег еще долго не таял: он лежал слоями, как на геологическом срезе. По нему можно было определить дни, когда шел снег, и увидеть, сколько длилась темная часть года.

Это ввело меня в искушение, и я невольно погрузился в более глубокие слои, в более темную часть истории.

В то время, когда мои земляки стояли под Москвой, не было ни этой больницы, ни парка, город не доходил сюда в то время, когда немецкие части были так близко. Может, по этой холмистой тронутой морозом земле шли на бой с врагом немолодые люди из ополчения. Может, одна из армий Жукова готовилась здесь к контрудару. Может, здесь в мерзлой земле рыли окопы московские женщины. Женщины, похожие на моих больничных сестер. Может, здесь был медсанбат и царила та самая спешка, о которой говорила Любовь Ивановна. Может, за залитыми кровью столами стояли врачи, похожие на моих теперешних. Может, там,

где меня окружает только мир, была война. Нет, не может быть, а наверняка здесь была война. Ее видели и слышали, на ней умирали. Тридцать восемь лет назад. Потом прошло еще четыре года войны и четыре года скудной не войны, пока не наступило то *особое* 7 октября. Тридцать лет назад.

И конечно, у нас есть основания праздновать. И они делаются весомее, если мы не будем забывать предысторию, из которой рождается история.

1979 г.

Перевод И. Щербаковой

Кусочек южного моря

По воскресеньям большинство людей спит дольше, чем в будни; у нас же было наоборот. В будни мать вставала раньше отца, а в воскресенье роли менялись. Как только в пять утра начинал трещать будильник, мать демонстративно поворачивалась на другой бок; отец же, кашляя, выбирался из-под одеяла и шел задавать корм скотине. При этом он все время что-нибудь говорил, но всякий раз с иной интонацией, и через раскрытое окно всегда было слышно, где он находится: у коз, у свиньи, у кур или у кроликов.

В будни во время своего обхода отец что-нибудь насвистывал, в воскресенье пел. Но это получалось у него еще хуже. На верхах его голос давал петуха, а на низах пение неизменно заканчивалось жесточайшим приступом кашля.

— Слишком много курит, — бормотала тогда в подушку мать.

Накормив скотину, отец шел на кухню перекусить. С тех пор как он в каком-то приключенческом романе вычитал исторические слова, произнесенные капитаном гибнущего судна: «В первую очередь женщины и дети», он каждое воскресное утро, нарезая хлеб, кричал в дверь спальни: «В первую очередь козы и куры!», на что мать сонным, но внятным голосом отвечала: «А во вторую — ослы!»

В такие утра она не бывала к нему благожелательна. И вот почему.

Каждое воскресенье отец уезжал на Рыбный рынок в Альтону. И вовсе не для того, чтобы купить, скажем, рыбу, нет, он отправлялся туда просто так. Иногда он брал с собой меня, поэтому я хорошо знал, в чем было дело: Рыбный рынок манил его, как иных — дальние страны.

Там в верхних рядах стояли лавки с жареным миндалем, окосовыми орехами, эдамским сыром, солодкой и лакрицей; пониже до хрипоты надрывали глотки торговцы бананами, разорявшие себя, если им верить, самоубийственно бросовыми ценами. Справа, в кабачке «Айер-Корс», горланя на сотне языков матросские песни, встречались первые воскресные пьяницы с последними субботними гуляками, а по левую сторону можно было приобрести сиамскую кошку, морских свинок из Новой Гвинеи, обезьянок-резус, какаду, альпийскую козочку или, на худой конец, кроликов из Гамбург-Лурупа. В средних рядах крестьяне из Фирландена и Геестгахта торговались с хозяйками из Санкт-Георга и Фульсбюттеля, а еще ниже, у самой Эльбы,

откуда вместе с утренним туманом плыли гудки причаливающих судов, рыбаки сгружали на качающиеся понтоны камбалу, корюшку и треску.

Тут же внизу, в крайнем левом углу, стояли аквариумы, и каждый свой поход на Рыбный рынок отец заканчивал именно здесь.

И это мне было тоже понятно: сколь ни привлекательна была шумная сутолока рынка, у стеклянных стенок аквариумов она немедленно забывалась. Одни только названия этих пятнистых, крапчатых, рябеньких, полосатых и уж каких-то совсем неописуемых рыбок, казалось, были придуманы не иначе как Джеком Лондоном и Джозефом Конрадом.

А отец знал их всех наперечет и мог совершенно точно сказать, в каком закоулке какого океана обитают эти причудливые создания.

Хорошо еще, что рынок закрывался в десять часов, иначе отцу никогда бы не выбраться вовремя «на сушу».

Мать же, и без того сердитая с той минуты, когда отец ни свет ни заря принимался в воскресенье хозяйничать на кухне, просто из себя выходила, обнаружив, что у него опять выдалось «барышное воскресенье».

А с «барышными воскресеньями» вот какая была история: козы, кролики, куры и свиньи, по выражению отца, были «скотиной для брюха» — мать, к слову сказать, не возражала против такого рода скотины, суп от нее, дескать, наваристей; но вот отец утверждал, что вся эта лабуда не доставляет ему ни малейшего удовольствия, если нет «чего-нибудь такого эдакого».

То же, что он именовал «что-нибудь такое эдакое», мать коротко и ясно называла «блажью». Она была тоже за кур, но не за таких, которые несли яички не больше голубиных, на сковородке смахивали на однодневных цыплят, которых и во двор-то пускали только потому, что это, мол, порода такая.

И против кроликов она никогда не говорила ни слова. Но на кой шут нужны были визгливые твари, у которых ни кожи, ни рожи, одни разве глазищи, этого она никак не могла взять в толк. Ну а голуби! Царица небесная, эти вообще способны только гадить да как ненормальные кружить над крышами. Подумаешь, чистопородные!.. «Рокфеллеры мы, что ли?» — спрашивала мать, на что отец отвечал: чего нет, того нет, не то бы он их держал по нескольку десятков зараз…

Честно говоря, отец не особенно долго возился со своими породистыми подопечными; месяца за три-четыре, бывало, он досыта наглядится на них, и ему уже опять хочется чего-нибудь новенького. Он помаленьку начинал поддакивать матери, когда

та заводилась против его «блажных тварей», и в один прекрасный день заявлял, что при первом удобном случае отвезет их на Рыбный рынок. И тут опять наступало «барышное воскресенье», то есть форменная катастрофа.

Дело в том (со временем это выяснилось окончательно), что на Рыбный рынок он отправлялся вовсе не ради продажи своих тотенгамских карликовых курочек или лопоухих кроликов серебристо-дамасской породы, — продавать-то он их, конечно, продавал, но только для того, чтобы на полученную выручку снова присмотреть себе «что-нибудь такое эдакое».

И пока отца не было дома, мать с тревогой ожидала минуты, когда, возвратившись, он полезет в мешок и торжественно вручит ей на сей раз самую что ни на есть распородистую животину.

У него в самом деле был необыкновенный талант раздобывать совсем ни на что не пригодных животных, поэтому легко представить себе, как мать с криком всплескивала руками, увидев порой жалкую, хотя и чистопородную, зверюгу.

Если бы хоть дело кончалось ненормальными голубями или кроликами, куда ни шло, но с каждым разом покупки становились все более странными. Однажды, например, отец выпустил из мешка огромную персидскую кошку — во всяком случае, продавец именовал ее персидской, — а кошка, оказывается, боялась мышей; в другой раз он вынул из кулька гватемальского попугая, который, правда, не умел говорить, зато очень ловко фонтаном выбрасывал сквозь прутья клетки шелуху от проса, а в последний раз отец притащил греческую черепаху с древней родословной; привязав за веревочку, он пускал ее в огород, где она сидела, спрятавшись под листом салата, до тех пор, пока не приходила мать и не срывала его.

Мать уверяла, что в тот день, когда отец извлечет из мешка павиана, она подожжет дом и переберется с детьми к своей матери в Финкенвердер. Павиана отец не принес, но то, до чего он додумался в позапрошлое «барышное воскресенье», было тоже неплохо. Мать, скрестив руки, молча наблюдала, как он осторожно водружал на кухонный стол мешок. Там оказался огромный стеклянный ящик, а в карманах у отца было полным-полно баночек из-под мармелада. Баночки он одну за другой ставил на стол и таким тоном, словно речь шла о золотых самородках, изрекал каждый раз какое-нибудь звучное слово: «скаларии», потом — «данио малабарский», потом — «неоновые» и, наконец, — «гуппи».

Да, это были они, великолепные рыбки-малютки из аквариума на воскресном рынке! Мать даже поинтересовалась, не отнялись ли у нас языки. Потом, качая головой, сказала, что при

виде всех этих рыб с их ну просто неприличной окраской и формой ей становится стыдно, если она, может, когда ненароком оскорбительно отозвалась о какой-нибудь почтенной камбале.

Но отца ее слова ничуть не задели — у него теперь действительно было что-то из ряда вон выходящее; и он принялся готовить аквариум. Воду нужно было подогреть, «а то еще, бедняги, простынут»; надо также принести мелкого песочку и промыть его. Мать застонала:

— Промыть песочек! Уж лучше бы последил за девчонками, чтобы те хорошенько вымыли себе шею…

Но отец не угомонился до тех пор, пока волшебные рыбки не бултыхнулись в аквариум.

Наконец мы уселись обедать, и я заметил, что мать с необычайным интересом поглядывает на рыбешек. А когда вдоль стеклянной стенки проплыл большой полумесяц, она, заглядевшись, полила подливкой вместо пудинга руку отца. Но отец даже в этом усмотрел свою победу.

— Точно, — сказал он, — это хоть кого выведет из равновесия… уж очень они хороши, не правда ли, эти благородные создания?

Он вытер малиновую подливку воскресным носовым платком и сказал, что такой вот аквариум здесь, на суровом севере, в своем роде кусочек южного моря и не надо, мол, стыдиться, что это ошарашивает. И он еще раз протянул матери тарелку с пудингом, а она осторожно налила сверху подливку.

Само собой разумеется, в этот день мы не отходили от аквариума, и к вечеру каждая рыбка получила подходящую ей кличку; переливчатый полумесяц, например, мы прозвали Альфонсом, по имени нахального ученика москательщика, который имел обыкновение, нацепив новый галстук, не спеша прохаживаться вдоль нашей изгороди, чтобы обратить на себя внимание моей сестры; цихлиду мы окрестили Гульдой — так звали толстуху лавочницу.

Уже в постели отец признался, что он весь день предвкушал удовольствие увидеть, как завтра соседи вытаращат глаза. В этом отчасти и была цель его поисков «чего-нибудь такого эдакого», чтобы к нам паломничали соседи полюбоваться на его чудеса. Тогда он часами сидел с ними на старых ящиках, вертел самокрутки и занимался тем, что мать называла «заглядыванием в куриные гузки». Бывало, слышишь, как он торжественно говорит:

— Правильно, Адье, такого чистопородного петуха не каждый день раздобудешь!

Слух об аквариуме действительно разнесся с неимоверной

быстротой, некоторое время даже казалось, что в поселке разразился соляной кризис, потому что к нам то и дело забегала какая-нибудь соседка одолжить ложку соли и уходила, только всласть налюбовавшись на наше новое приобретение.

Восторги соседей, правда, несколько поутихли, когда они дознались, из-за чего в последние дни их почта приходит с таким опозданием: матери удавалось оторвать почтальона от созерцания нашего «южного моря» лишь неоднократными напоминаниями о том, что ему пора на работу.

А отец, узнав о впечатлении, которое произвели на почтальона чудо-рыбки, с удовлетворением заметил, что такое, мол, бывает: человек, который действительно завел себе что-то особенное, и сам в глазах других становится чем-то особенным, и к нему все идут.

И до чего же он был прав!

Все началось с Ионатана Краулига. В четверг вечером мы только собрались было ужинать, как он явился. Никого другого у нас в доме не называли бы Ионатаном — из такого долговязого имени давно бы сделали «Йонни», — но Ионатана нельзя было называть иначе чем Ионатан. Он был беден и по-своему набожен. Когда-то прежде, рассказывал отец, он не был ни бедным, ни набожным, какое там! Прежде у него был большой угольный склад и он здорово пил. В ту пору его все звали Йонни. Но потребление угля в поселке отставало от потребности хозяина склада в спиртном, и в один прекрасный день он одновременно объявил себя банкротом и провозвестником новой секты.

И вот он явился к нам. Как всегда, на нем была широченная, вымокшая под дождем черная накидка и сношенные сандалии, с которыми он не расставался даже зимой.

Он без обиняков заявил, что пришел из-за рыб, но тут ему бросилось в глаза, что отец лежал на диванчике и не курил.

Ионатан знал, что ни то ни другое не было в привычках отца, и потому участливо спросил:

— Дорогой Пауль, уж не заболел ли ты?

— Да, дорогой Ионатан, — торжественно ответил отец, — у меня грипп.

Мать, знавшая Ионатана не хуже, чем отца, громыхнула кофейными чашками, однако Ионатан проявил себя миссионером в гораздо большей степени, чем это можно было предположить.

— Вот и хорошо, — кротко сказал он, — значит, у тебя найдется часок, чтобы наконец заглянуть в Великую книгу…

— И вправду, — заметил не без коварства отец, которого грипп как нельзя кстати уложил в постель, — самое время

заняться божественным делом. — Он посмотрел в потолок таким невинным взглядом, что моя старшая сестра, прыснув, убежала в спальню.

Ионатан и на это не обратил никакого внимания.

— Если тебе будет угодно, — продолжал он, — давай-ка раскроем Великую книгу и займемся изгнанием гриппа. — И он принялся вытаскивать из-под мокрой накидки Великую книгу, которую неизменно носил с собой.

Но отец стал отнекиваться, лучше, мол, потом, а то сейчас у него настроение не благоговейное.

Тут и вторая моя сестра выскочила в спальню; мать же, за это время наполнившая доверху печку брикетами, принялась извлекать их обратно и аккуратно укладывать в ящик. Увидев, что она склонна повторить эту операцию, я подумал о том, как бы и мне незаметно смыться.

Тут раздался стук в дверь, и в нашей маленькой кухне появился господин советник врачебной управы доктор Пфаух.

Отец посмотрел на мать — нет, она не вызывала врача, звать врача из-за гриппа у нас не было заведено, тем более столь уважаемого советника медицины, которого мы знали в лицо только потому, что он часто проезжал на машине по нашей улице в близлежащую рощу, где гуляли нудисты; нет, нет, такое ей не пришло бы в голову, даже если бы в нашем доме случилась и скарлатина. Однако доктор недолго держал нас в сомнении. Он был не из тех, кто особенно церемонится; сказав громко «здрасьте», он сунул матери в руки влажную от дождя охотничью шляпу, уселся верхом на стул и загудел как в трубу:

— Ну-с, молодой человек, где тут у вас ночная посуда с морским чудом?

«Молодой человек» относилось к отцу, а под «ночной посудой» подразумевался, очевидно, аквариум, так как, узрев его за накидкой Ионатана, доктор уселся и прижал свой большой нос к стеклу.

— А этого, наверное, проутюжили? — загудел он, увидев Альфонса. — До чего же плоский! Великолепнейший экземпляр!

Против «великолепнейшего экземпляра» отец не возражал, но что касается «ночной посуды»… Я заметил, как он принялся сворачивать самокрутку, причем ноздри его раздувались.

— Н-да, — сказал он наконец, бросив выразительный взгляд на огромный живот медика, — жаль, что вот нашего брата нельзя проутюжить, небось не занимали бы так много места.

В кухне наступила тишина; моя маленькая сестренка, улучив момент, высунула голову из спальни и спросила, скоро ли будет ужин, хотя, добавила она, к нам идет еще какой-то дядя. А дядя,

вернее, тетя входила уже на кухню: это была Алиса. С Алисой, по правде говоря, мы не поддерживали отношений, так как она вечно бросала камни из своего сада в наш, но теперь мы были рады и ей.

В молодости Алиса пела где-то на ипподроме игривые песенки и сохранила с того времени хрипловатый голос и взгляд обольстительницы. С Ионатаном она не церемонилась — его она знала еще в ту пору, когда он назывался Йонни; дернув его слегка за ухо, она пробасила:

— Привет, божий человек!

Советника же медицины она оглядела внимательно и тоном грубоватым, но вполне дружелюбным заметила:

— Ах, вы тот самый дядя доктор с шикарным драндулетом! Боже мой, сколько воды утекло с того времени, когда я знавала господ анатомиков… Или, быть может, мы с вами имели удовольствие?..

— Нет, — проворчал доктор; не такой, мол, он еще старый, как выглядит.

Тут даже Ионатан не удержался от кисло-кроткой улыбки. А Алиса мгновенно вспомнила, что она, собственно, пришла из-за этих вот «малюсеньких, славненьких рыбочек», и, усевшись перед аквариумом, без умолку повторяла:

— Боже мой, боже мой, красотища какая!

Поскольку рыбки снова вступили в свои права, лицо у отца понемногу разгладилось. И все-таки у него, кажется, возникли сомнения относительно полезности последнего приобретения, а приход следующего гостя отнюдь не способствовал тому, чтобы рассеять их.

В уже переполненную кухню вперевалку вплыла тезка цихлиды, лавочница Гульда. Мне всегда казалось, что Гульда ведьма. Она уже давным-давно не стояла за своим прилавком, ее ноги этого не выдерживали, она была настолько толста, что объезжала своих должников-покупателей на электротележке. И все ее участие в деле заключалось теперь единственно в том, что она следила за своевременным погашением долгов покупателями, бравшими по записи.

В ее лавке долги уплачивались не как обычно, то есть при очередной покупке товара; для этого нужно было подняться на второй этаж и войти в комнату, где всегда было нестерпимо жарко и, казалось, навечно устоялись все запахи молочной лавки. Тут-то в полутьме и восседала Гульда, взимая долг!.. И так как ни одного гроша она не принимала без того, чтобы не прочесть должнику лекции о бренности мамоны, то моя мать, если нужно было что-то уплатить, посылала наверх меня.

Без сомнения, Гульда была ведьмой; даже сейчас, когда она стояла в ярком свете кухонной лампы, это впечатление не исчезало. Сначала она осмотрела своими довольно противными маленькими глазками широкий буфет, на котором было приготовлено к ужину, и, лишь убедившись, что нами ничего не было куплено у ее конкурентов, уставилась на аквариум.

— Так-так, — сказала она, когда Ионатан и Алиса поспешно уступили ей место: они, как и мы, вечно были ее должниками, — так-так, это и в самом деле интересно. И денег это, надо думать, кое-каких стоило, а?

Пусть не думают, что у нее на уме одни только поганые деньги, в могилу она их все равно не возьмет, да, да, в последнее время она довольно часто размышляет о смерти, однако дела ей после себя хочется оставить в порядке, ну, а кто-то сказал ей, что мы приобрели что-то необыкновенное, и она случайно обнаружила в своей книжке, что за кое-какой товар мы еще не уплатили; вообще-то деньги — проклятье, а сколько, между прочим, стоили рыбки?

Появление пастора Мейера на время избавило отца от ответа. Пастор оглядел столь необычное сборище мягким вопрошающим взором, весело произнес: «Добрый вечер всем, всем, всем», — правда, не без того, чтобы не метнуть молниеносного взгляда в сторону Ионатана, взгляда, которым он давал понять, что этого вот «шарлатана» он хотел бы исключить из своего «всем, всем, всем», — а потом сказал, что до него дошла весть, будто мой отец собрал в стеклянном сосуде дивное множество божьих тварей, и это согревающее душу известие повлекло его сюда по темным и дождливым тропам. То, что до пастора Мейера «дошла весть», никого особенно не удивило, у нас в округе почти не было дела, о котором он не проведал бы; мой отец даже пустил в обращение прозвище «Пинкертон господа бога», ибо не варилось еще такого мяса в кастрюлях общины, о котором бы не пронюхал сей «пастырь духовный». И его выражение «дождливые тропы» как нельзя было к месту, поскольку шнурованные сапоги господина пастора выглядели так, будто он часа два брел по размытой глине. Мать не сводила взора с грязных пасторских сапог, вздрагивала каждый раз, когда с них сваливался очередной комок глины, тут же попадавший под широкие подошвы духовного гостя.

Пастор Мейер, как видно, решил не упускать возможность потренироваться в общении с возлюбленной паствой, в своей речи он вперемежку с душеспасительной церковной лексикой усердно употреблял хлесткие народные словечки, причем внешность и поведение наших экзотических рыбок служили для него

источником разнообразных сравнений и аллегорий.

Ионатан, завернувшись в свою накидку, как в тогу, пытался время от времени изображать на своем сектантском лице, помятом еще в эпоху Йонни, насмешливую улыбку; Алиса, услышав очередную метафору пастора, восклицала своим хриплым прочувствованным голосом: «Красотища какая!», советник медицины то и дело гудел от удовольствия: «Это господин коллега сформулировал поистине великолепно», а то, что он не находил великолепным, было «капитально» или «феноменально»; глазки ведьмы Гульды тайком скользили по кухне, оценивая стоимость нашей утвари, и лавочница наверняка в любой момент могла бы указать довольно точную цифру, однако при этом она не забывала энергично трясти своим тройным подбородком, когда пастор Мейер упоминал о бренности всего земного.

Отец с матерью только посматривали друг на друга; именно в эти минуты я понял, что имеют в виду авторы романов, когда говорят о красноречивых взглядах. Свет лампы пробивался словно сквозь гамбургский ноябрьский туман; пахло пасторским потом, карболкой советника медицины, чесноком вегетарианца Ионатана, плебейским «одеколончиком» Алисы, самым дешевым табаком фирмы «Бринкман» и всей мелочной лавкой ведьмы Гульды. А какая была жарища!

Уж совсем поздно вечером младшая сестренка протиснулась на кухню, в самый разгар пасторской аллегории о заботливой цихлиде и прожорливой рыбе-меч, и плаксивым, сонным голосом спросила, когда же уйдут все эти гости, она умирает от голода. Пастор тут же встал; мягким, но решительным жестом, словно давая знак церковному хору грянуть гимн, он поднял остальных и, втирая в пол последний комок глины, сказал, что детишкам, которые просят кушать, никто не имеет права отказывать. Затем он погнал всех гостей к двери, невзирая на то, хотелось ли им, как, например, Гульде, сказать еще что-нибудь или нет. На пороге он обернулся и в клубах вылетающего из кухни пара, окутавшего его освещенную лампой голову, спросил, нельзя ли ему в следующий раз привести с собой своих ребятишек — их у него было семеро, причем шестеро умели ходить, — чтобы и они посмотрели на эту водную аллегорию или как там отец называет свой сосуд, как-то в забавно-народном духе, кажется, «что-то такое эдакое».

— Точно, — ответил отец голосом более хриплым, чем у Алисы, — именно так.

В ближайшее воскресенье отец отправился на Рыбный рынок, а вечером у нашей калитки лежала собака, лохматая, злая,

родичей которой можно увидеть в любой деревушке.

Перевод Г. Чистяковой

Приход и уход

Да, боюсь, это будет нелегко; нелегко для вас и для меня не легче. Для вас, поскольку вы должны отказаться от своих надежд, освоиться в новом положении, удовольствоваться другим человеком, для меня же это будет тяжело потому, что я все понимаю, понимаю ваше разочарование, понимаю также, что для вас я не более как замена.

Я должна занять то место, на котором все надеялись увидеть Ханну Барлов, а чтобы это сделать, понадобилось бы по меньшей мере три человека с моим жизненным опытом, да и то все вокруг начали бы вскорости призывать Ханну Барлов.

Только призывать нам пришлось бы очень долго: Ханна Барлов больше не придет, она умерла, умерла вчера, через два дня после своего семидесятилетия и за день до праздника вашего посвящения в юность, накануне того праздника, когда на этом самом месте вы должны были услышать ее выступление.

И не просто должны, но и хотели услышать, потому что Ханна Барлов славилась своими речами, и многие из вас это знали, так как среди ваших родителей я вижу и тех, кому довелось идти по жизни вместе с Ханной Барлов.

Бессмертие, знаете ли, слово отнюдь не безобидное, заявив о себе, оно подвергает сомнению одно из важнейших обстоятельств, определяющих нашу жизнь, — оно подвергает сомнению то обстоятельство, что мы смертны, оно как бы утешает нас, а это не всегда хорошо, ибо в надежде на вечную жизнь мы откладываем на потом слишком многое из того, что откладывать никак нельзя.

О бессмертии, пожалуй, следовало бы говорить лишь применительно к умершим, а если подбирать метод, с помощью которого можно определить его присутствие, то лучше всего, на мой взгляд, подсчитать количество истинного движения, движения в смысле движения вперед, прогресса, развития, привнесенного одним человеком в жизнь других людей.

И все же как хотите, а в этом смысле Ханна Барлов бессмертна.

Возможно, мы и не станем воздвигать ей памятник, во всяком случае, лично я не могу ее себе представить ни отлитой из бронзы, ни высеченной из камня; она и впрямь не принадлежала к числу тех, кто нуждается в пьедестале, чтобы оказаться на виду, — я знаю, так можно сказать обо всех, кому мы нынче воздвигаем памятники, но для меня Ханна отличается от всех этих людей еще и тем, что я сама ее знала, что многие из собравшихся на эту встречу, которая была задумана как праздник,

которая праздником и останется, тоже ее знали и что многое в нашем городе было бы не таким, как сейчас, не будь в нем Ханны Барлов.

Сейчас я скажу то, что всем известно, но я все равно хочу это сказать, поскольку лишь таким путем удастся, возможно, объяснить, как я осмелилась занять на трибуне место Ханны: Ханна Барлов была бургомистром нашего города до того, как бургомистром стала я, а я стала бургомистром только потому, что до меня им была Ханна Барлов.

Надеюсь, для вас это прозвучит как рассказ о тех временах, когда человек, которому понадобилось новое пальто, должен был идти с рогатиной на медведя, но даже в нашем городе мысль о том, чтобы женщина возглавила городское правление, укладывалась когда-то лишь в немногих головах, да и то Ханна подготавливала для нее почву; дело, правда, обошлось без открытого сопротивления, но канители было много, однако после того, как Ханна несколько лет пробыла на посту бургомистра, никто уже не мог понять, зачем понадобился весь шум и крик, а задаваясь порой вопросом, почему именно мне довелось сменить Ханну на посту бургомистра, я в момент озарения пришла к следующему выводу: потребовалось бы слишком много сил, чтобы после ухода Ханны город примирился с мыслью, что бургомистром снова будет мужчина.

Ко всему прочему она была еще и весьма хитроумная особа, наш товарищ по партии Ханна Барлов: едва уступив мне свое место она начала хлопотать, чтобы ей доверили председательство в комиссии по посвящению в юность. Разумеется — это знает здесь каждый, потому что сегодня все ожидали ее на этой трибуне именно в данном качестве, и по меньшей мере те из нас, кто постарше, заранее радовались возможности услышать одно из знаменитых выступлений Ханны Барлов, — разумеется, ей доверили этот пост, но — и на это я намекала, говоря, что она хитроумная особа, — но Ханна могла с тем же успехом хлопотать о месте почетного председателя в продовольственном контроле, либо в отделе мелиорации, либо даже в отделе народного искусства, лишь бы кабинет — и тут я наконец добралась до сути ее хитроумия, — лишь бы кабинет этой важной руководящей инстанции был расположен так, как расположена комната комиссии по посвящению, а именно — пусть за углом, но чтобы из нее была дверь прямо в кабинет бургомистра.

Наши отношения малость, самую малость смахивали на отношения между гномом и принцессой из сказки — не смущайтесь, если эта история жива и у вас в памяти: сказки существуют для пожизненного пользования; итак, когда я готова

была прийти в отчаяние при виде той горы соломы, из которой еще до рассвета предстоит напрясть кучу золота, Ханна Барлов возникала в дверях своей комнаты, и тут колесо начинало жужжать, и мотовило принималось шустро сновать взад и вперед, и вот так за минувшие годы я и выучилась бургомистерскому ремеслу.

Поэтому я при всем желании не могла не выработать самое теплое отношение к празднику посвящения в юность, и поэтому даже и вопроса не возникло, кому выступать, когда пришло сообщение о том, что Ханна умерла; ведь в воскресенье сотни молодых людей будут ждать, чтобы кто-нибудь сказал им: детство кончилось, юность — вещь серьезная и жизнь — тоже, вдобавок они будут ждать, чтобы кто-нибудь красиво выразил эту мысль.

Впрочем, не возлагайте на меня слишком больших надежд, дорогие друзья, ибо утрата, которой является смерть Ханны, коснется многих, и вас в том числе.

Правда, остались записочки, с помощью которых Ханна готовилась к сегодняшнему торжеству, ей, кроме записок, ничего не требовалось, для меня же их слишком мало, но все-таки они будут мне подспорьем.

Заметки Ханны носят странный характер, и, не общайся я с ней в течение многих лет, я бы не знала теперь, что с ними делать; вот посмотрите, как они выглядят, а на них написано — на этой, к примеру: «Пусть носят защитные шлемы», а на этой: «Нелегко быть единственным коммунистом в Барске!»

Большая часть историй, о которых напоминают эти записки, мне знакома, я расскажу вам их в свой черед, но, кроме того, я хотела бы рассказать кое-что из истории самой Ханны Барлов, потому что, как мне кажется, такое знание придает силы.

А сила вам понадобится, потому что жить хотя и здорово, но зато здорово трудно.

Ваша жизнь — именно на этой торжественной встрече я обязана об этом сказать, — ваша жизнь будет особенно трудной, потому что вам придется участвовать в самом трудном упражнении на подъем тяжестей из всех, которые когда-либо знала человеческая история: вы должны будете поднять наше общество на более высокую ступень — в коммунизм.

Разумеется, вы будете поднимать наше общество не в одиночку, многие будут поднимать вместе с вами, да и сейчас уже поднимают, и все-таки упражнение будет не из легких; ведь это ж надо — поднять целое общество со всеми его атрибутами — средства производства, средства связи, продукты питания, образ жизни, образ поведения, образ мыслей и привычки — да, да, именно привычки, — а всего тяжелей, например, привычка

различать людей и не только различать, но и судить, оценивать по тому, с какой стороны они застегивают пуговицы на своем пальто; либо привычка некоторых присчитывать к своему росту еще и толщину своего кошелька; либо привычка использовать собственные локти как надежнейшее средство передвижения.

Или привычки, имя которым зависть, и равнодушие, и карьеризм, и угодничество — или лень и тому подобное. Итак, в вас, сидящих здесь, мы видим часть той команды, которая призвана осуществить это грандиозное начинание.

Мне думается, именно сейчас и следовало бы прибегнуть к одной из Ханниных записок, к той, на которой упоминается единственный коммунист в Барске, потому что в этом месте своей речи товарищ Барлов непременно сказала бы: «Да, на вас возлагают большие надежды, но вы не одни — смысл сегодняшнего торжества состоит, между прочим, и в том, что мы говорим вам: «Добро пожаловать в большой великий союз борцов за долгожданные человеческие условия жизни; мы рады, что вы с нами, да и вам должно быть приятно сознание, что мы — с вами».

Есть множество явлений, которые требуют времени, чтобы в них можно было уверовать, но я возьму аванс у будущего и скажу вам уже сегодня: общность — вот истинное счастье, а если вы меня спросите, от какой беды человек может задохнуться, я вам отвечу: имя этой беде — одиночество.

Я знала одного человека — так сказала бы вам Ханна Барлов, использовав таким образом свою записку, — я знала человека, который двадцать пять лет подряд был единственным коммунистом в Барске.

На его долю выпало все, что может выпасть на долю человека, которого ландрат[2] честит разбойником, а пастор — богохульником, а помещик — поджигателем, а местный полицейский — позором для всей деревни, а деревенский лавочник — ненадежным покупателем, а малость придурковатая вдова — холуем Москвы, а отнюдь не слишком добродетельная крестьянка — бесстыжим выродком, который намерен ввести у них в деревне многоженство, а соседская дочь говорит, что не может больше с ним встречаться, если он будет водиться с «этими», а жандарм, который приходит его забрать, говорит: все потому, что он водился с «этими», а охранник с особой старательностью пинает его сапогом в живот, потому что он — один из «этих». Единственному коммунисту в Барске досталось полной мерой, потому что он был один из «этих самых», но он вытерпел все, потому что был один из «этих самых».

Молоденьким парнишкой примерно вашего возраста он обнаружил в себе способность отбивать музыку двумя палочками

на опрокинутом тазу, на крышке молочного бидона, даже на трухлявом дереве скамьи, где этот бидон стоял, после чего на ярмарке в Вельмсхагене — был как раз перерыв между танцами, и музыканты, сгрудившись у стойки, принимали снаружи заказы на разные песенки, а внутрь — местную тминную — паренек из Барске поднял в Вельмсхагене порядочный шум, когда извлек этот шум из оставленного без присмотра барабана. Шум привлек к себе внимание и попутно обеспечил ему несколько оплеух, это не первые оплеухи и не последние, они забываются, когда набравшийся капельмейстер уговаривает своего барабанщика разрешить парню в следующих перерывах пошуметь еще малость.

Итак, бродячая капелла приобрела нового барабанщика, а сей последний в свою очередь — новую жизнь, потому что с этого дня он стал в Барске единственным человеком искусства; получи он много денег в наследство, он значил бы еще больше, но благодаря своему умению барабанить он стал хоть чем-то, а раз он начал бродить вместе с капеллой, он стал в Барске не просто чем-то, а чем-то особенным.

Но «музыканты, они все такие» — так вскорости начинают поговаривать не только в Барске, но и в самом Вельмсхагене, — «они готовы играть для всякого, кто им платит», и когда вельмсхагенские коммунисты приглашают капеллу играть у них на танцах, музыканты барабанят, пиликают и дудят также и для коммунистов, а эти коммунисты — «они все такие», начинают вскорости судачить люди не только в Вельмсхагене, но и в самом Барске, — эти коммунисты заводят разговор с барабанщиком, замечают, что парень далеко не дурак, и «сразу на него набрасываются как волки».

Таким путем Барске приобретает одного коммуниста, другими словами, одного красного, правда, этот красный еще очень зелен, но все-таки он слишком красный для Барске, расположившегося в камышовой излучине речушки Мюриц.

Да, дорогие друзья, уж Ханна-то Барлов сумела бы вам рассказать о деревне Барске и об ее единственном коммунисте, но я не могу израсходовать все ваше время на одну историю, поэтому буду краткой.

Когда в Барске бывали выборы, националисты, а позднее, соответственно, нацисты получали почти все голоса; но с того дня, как единственному коммунисту Барске сравнялся двадцать один год один голос неизменно получали коммунисты, *и* когда начинался подсчет голосов, редко какому члену партии доводилось услышать столько пьяных насмешек и редко какого члена партии так избивали по следующей причине: «Этот гад испортил нам показатели».

Когда нацисты пришли к власти, кто-то позаботился о том, чтобы и Барске дал стопроцентные показатели, ибо в научных трудах по поводу тридцать третьего года прямо сказано, что победа национал-социалистов была полной. Деревня Барске внесла посильный вклад в правильность данного утверждения, деревня Барске одержала до того убедительную победу над своим единственным коммунистом, что чуть не превратила его в покойника.

Знайте же, мальчики и девочки, это продолжалось двенадцать лет, почти столько же, сколько вы прожили на свете, и хуже всего — так говорил Ханне Барлов тот единственный коммунист, — хуже всего было одиночество.

А теперь я открою вам ту часть истории, о которой ни разу не упоминала Ханна Барлов, когда говорила об одиночестве, общности и единственном коммунисте Барске. Впрочем, она рассказывала о том, как этот единственный к концу войны бежал из тюрьмы и как его кто-то прятал чуть ли не целый месяц и тем спас ему жизнь, и на одной встрече вроде сегодняшней она так же правдиво описала, что именно кричал коммунист из Барске соседям, когда на каком-то собрании уже много лет после войны кто-то решил над ним посмеяться и сказал, что он, мол, держит себя так, будто Красная Армия пришла сюда именно ради него, — и тогда он закричал, да так яростно, как может закричать лишь тот, кто двадцать пять лет подряд был единственным, он не просто закричал, он, можно сказать, заревел: «Именно ради меня! Ради чего ж еще могла Красная Армия заявиться в Барске? Ради ваших семи коз, восьми зубов, девяти волос? Вы никак думаете, Красная Армия спешила сюда только потому, что даже во Владивостоке прослышали, какие вы все идиоты?

Из-за меня они пришли, да-да-да! Меня пришли освобождать! Я всегда буду так думать и заранее вас предупреждаю, что не позволю здесь, в Барске, сказать ни одного плохого слова, кинуть ни одного косого взгляда на моих друзей, которые пришли, чтобы освободить меня! Да-да-да, к Красной Армии у меня совершенно личное отношение, и я действительно способен вообразить, что она выслала своих солдат специально для меня, чтобы вызволить меня из того, что представляет собой эта страна, а в этой стране представляет собой Барске, и еще я воочию вижу, как много их погибло на пути к моей решетке, погибших, говорю я вам, вы тоже должны присчитать, если намерены и в будущем тягаться со мной, если намерены и впредь мешать воцарению в Барске разума и человечности».

Вы уж извините, дорогие друзья, я несколько разгорячилась, произнося эту часть того, что было, вообще-то говоря, задумано

как речь по поводу вашего торжественного посвящения в юность, но единственный коммунист Барске, сдается мне, тоже горячился в свое время, а уж о Ханне Барлов всем известно, как она горячилась, когда об этом рассказывала; Ханна утверждала, что настоящее новое время наступит лишь тогда, когда достаточно будет просто высказать любую истину один раз спокойным тоном, — и ни на одном из собраний вроде нашего сегодняшнего она не приводила подробностей этого побега из тюрьмы единственного коммуниста, как и не поминала тот месяц, когда беглец пользовался относительной свободой вплоть до своего истинного освобождения.

А провел он его на сеновале у Ханны Барлов.

Поскольку все мы уже видели множество таких историй в кино и по телевидению, они представляются нам слишком красочными и бурными, слишком приключенческими.

Сарай же у Ханны Барлов был самый обычный козий хлев, а над хлевом был устроен сеновал, а в углу стояли грабли и мотыги, лопаты и ведра, и еще козлы и початый мешок цемента, и еще две козы, которые начинают вонять, как целых двадцать, если провести около них длительное время, и закуток для кроликов, и еще для кур, которые после каждого яйца начинают предательски громко кудахтать.

Вы можете сказать, что было не очень-то разумно, бежав из городской тюрьмы, прятаться в расположенном по соседству козьем хлеву, но чтобы поступать разумно, требуется немножко больше времени и немножко больше сил.

И разве в конце концов это не оказалось проявлением высочайшего ума: из всех мыслимых укрытий выбрать единственно пригодное, а среди всех запуганных и жадных, тупых и болтливых отыскать единственную — Ханну Барлов?

Возможно, вы сейчас задаете себе вопрос: а Ханна и этот беглец, они раньше были знакомы или нет? — и я отвечу вам: едва ли.

Между прочим, за тот месяц, что беглец провел у нее в хлеву, они тоже друг друга не видели.

Просто Ханна однажды утром заметила, что в хлеву что-то переменилось, но так, как это бывает, если человек что-то заметил, а мысль о замеченном отгоняет в сторону. Мысль эта снова вернулась к ней, когда днем зашла соседка и сказала, что из тюрьмы убежала тьма народу, мало нам и без того хлопот, так изволь еще на старости лет запирать все двери.

Тогда еще был жив муж Ханны; хронический кашель с мокротой согнул и высушил его — и если даже в хлеву что-то было не так, ему об этом знать не следовало.

Соседка ушла, а муж пристроил свою больную спину на диване; тут Ханна метнулась в хлев и как следует выбранила коз: если они будут учинять здесь такой беспорядок и разбрасывать сено куда надо и куда не надо и хозяин это увидит, он по своей злой недужности может и мясника кликнуть. Из всего, что по нынешним временам важно для жизни, следует в первую очередь назвать порядок, поэтому на лестнице не должно быть клочьев сена, и все должно лежать на своем законном месте: вот, например, объедки, предназначенные на ужин для кроликов, всегда ставят на одно и то же место, а именно на верхний выступ в темном углу слева.

И не будут ли козы так любезны усвоить, что ежели им по естественной нужде понадобится выпустить из себя кое-какое добро, так пусть они это делают поближе к той стенке, под которой прорыт сток в яму.

Тише вы, козы, перестаньте блеять и стучать копытами; хозяин хоть дышит плохо, зато слух у него — дай бог каждому. И засыпает он, когда пробьет десять и станет темно, но не позже двенадцати его уже разбудит первый приступ кашля.

Да, детки (вы уж не обижайтесь на меня за такое обращение), Ханнины козы, судя по всему, отлично ее поняли; они поддерживали в хлеву строгий порядок и привыкли к странным речам Ханны, хотя, надо сказать, речи эти были им порой не по зубам, особенно когда она говорила с ними в рифму: «Летят над домом самолеты, но в них не фюрера пилоты!», либо: «Ой вы, козушки, беда: русские идут сюда». Муж Ханны Барлов даже сказал по этому поводу, что ему любопытно, какая из двух бед стрясется раньше: то ли он выкашляет последний кусок легкого, то ли его старуха окончательно спятит.

Но однажды — а так продолжалось уже целый месяц — муж наведался в хлев, когда Ханна пошла убираться к директору газового завода, и сказал сам себе такие слова:

— Грудь-то у меня больная, но голова, слава богу, в порядке, и я знаю, на сколько нам раньше хватало одного жареного кролика, и насчет хлебных карточек тоже знаю, и как пахнет козья моча — тоже. А ежели кто-нибудь думает, я буду помалкивать только потому, что моя жена замешана в этом деле, пусть этот кто-нибудь зарубит себе на носу: я все знаю, никто и не поверит, что я ничего не знал. Уж лучше мне через год захлебнуться в собственной крови, чем завтра лечь под топор. Так что мотай отсюда, гад поганый, я еще пожить хочу.

Н-да, вот как получилось, что на другой день Ханна вечером обнаружила в темном углу над кроличьим закутом утреннюю пайку хлеба, а когда она поняла, что это значит, и разглядела

торжество в больных глазах мужа, она перестала разговаривать с козами, а заодно — даже много спустя после войны — и со своим мужем.

Зато потом она хоть по разу да переговорила со всеми людьми в нашей местности — сперва как депутат, потом — как бургомистр и, наконец, как председатель комиссии по посвящению в юность.

А род занятий, где требуется постоянно разговаривать, она избрала потому, что однажды вечером, после войны уже, к ней заявился один человек и сказал, что он — тот самый, с кем в былые времена можно было поддерживать отношения только через коз.

Теперь он стал здесь ландратом и подыскивает людей, на которых можно положиться, а уж что на Ханну Барлов можно положиться, он знает куда лучше, чем сам господь бог.

Да, дорогие друзья, несколько лет назад он умер, этот человек, который двадцать пять лет подряд был единственным коммунистом в Барске, и утешить нас может только то обстоятельство, что в Барске уже давным-давно коммунистов гораздо больше, чем один.

Мне это ясно, но когда человеку четырнадцать-пятнадцать лет, мой рассказ повествует как бы о незапамятных временах, на наше счастье, речь идет именно о таких временах: обстоятельства, при которых впервые встретились наш бывший бургомистр и наш бывший ландрат, встретились, хотя и не увидели друг друга, эти чудовищные обстоятельства принадлежат к отдаленнейшей части нашей предыстории — для вас они остались далеко позади, да и для меня тоже, но заблуждается тот, кто настолько дорожит своим временем, что не желает при случае вспомнить о временах, канувших в прошлое. То, что совершилось некогда, так же способно и так же не способно кануть в прошлое, как леса, покрывавшие нашу землю в каменноугольный период, — без них у нас не было бы сегодня ни каменного угля, ни нефти.

Разумеется, вовсе незачем каждый раз, когда включают свет, растроганно бормотать: «О вы, дивные леса каменноугольного периода!» Но откуда что взялось, тем не менее знать следует, хотя бы для того, чтобы не воспринимать все подряд как само собой разумеющееся.

На этот счет есть высказывание одного писателя, и бумажка, на которой оно написано, в порядке исключения досталась мне не от Ханны Барлов, это моя бумажка, потому что я уже давно начала подражать ей и записывать то, что мне понравилось либо, наоборот, не понравилось, я могу всячески рекомендовать этот

метод, а писатель — его имя Томас Манн, и я от всей души желаю, чтобы вы когда-нибудь познакомились с его книгами, — итак, этот писатель сказал: «Есть люди, которые все находят само собой разумеющимся. Если не делать этого, жизнь окажется очень занятной».

Точней не скажешь — занятной в смысле, ну да, именно в смысле занятной, веселой: прекрасной, ни капельки не скучной, освежающей, бодрящей…

И правда, не надо принимать все как само собой разумеющееся, хорошее не надо, а уж плохое — тем паче. Как есть, так и ладно, это ведь тоже одна из тех присказок, которые остались с тех времен, когда людям, словно они были не в своем уме, приходилось разговаривать с козами, чтобы сохранить жизнь себе и другим.

Если кто-нибудь из вас питает надежду проложить такой широкий путь, как Маркс или Ленин, либо как Леонардо да Винчи или Гёте, либо как Эйнштейн, или Вирхов, или Бертольт Брехт, тот должен зарубить себе на носу: фраза «как есть, так и ладно» была для них самой отвратительной из всех возможных фраз.

Но поскольку большинство из нас не устремляется мыслями так высоко, мы можем сказать: фраза «как есть, так и ладно» — это такая жизненная позиция, при которой у человека очень скоро отрастает пузо, а мы ведь желаем друг другу еще много лет быть стройными.

Вот я и перешла к пожеланиям, как это заведено, когда произносишь торжественные речи, и, хотя речь у меня получилась менее торжественной, чем принято, пусть и она не страдает недостатком добрых пожеланий.

Одни из них остались вам еще от Ханны Барлов, другие добавила я, но важно не то, откуда они взялись, гораздо важнее, куда они направлены, кому адресованы, какое действие оказывают…

На ту прекрасную и большую часть жизни, которая начинается нынешним днем, мы желаем вам:

Лишь крайне редко испытывать мерзкое чувство, которое принято называть скукой.

Время от времени переживать счастливый миг, когда сознаешь, что сейчас тебе не нужно делать ничего, ну как есть ничего, абсолютно ничего мало-мальски важного.

Мы желаем вам приключений, которые вознесут вас до луны и приведут на берега всех морей, и еще мы желаем вам такой работы, о которой вы никогда не сможете толком сказать, на какую лучшую вы были бы готовы ее променять.

И еще мы желаем вам завершить свои школьные дни так, чтобы разлука со школой не казалась вам избавлением.

Вам, мальчикам, мы желаем славных девушек (множественное число), а вам, девушки, славных мальчиков (множественное число), хотя с этим можно пока и не торопиться.

Мы желаем вам обзавестись тончайшим слухом, чтобы воспринимать тончайшие шепоты мира, — и вдобавок крепчайшими нервами, потому что порой наша земля издает рык и рев.

Мы не желаем вам тишины, которая возникает, когда двое должны поговорить друг с другом и внезапно умолкают — по злобе или со стыда, по лени, из трусости либо сдуру.

Еще мы желаем вам смелости, чтобы говорить всю правду друзьям, и смелости, чтобы говорить всю правду врагам, но если понадобится — чтоб не проронить ни слова.

Желаем вам Ханниной смелости, применительно к нашим, лучшим временам, а еще желаем времени, чтобы иногда вспомнить о ее смелости, которой в числе прочего мы обязаны тем, что ваше время нельзя даже и сравнить с прошедшим.

Мы желаем вам — снова мы обе, я и Ханна, — мгновений, справедливо распределенных по долгой жизни, когда человек сознает, что принес кое-какую пользу, и столь же справедливо распределенных по жизни мгновений, когда человек, словно второй Мюнхгаузен, за собственные волосы вытаскивает себя из теплой тины, зловонной, как самодовольство.

Мы желаем вам, а также и себе как можно более скорых успехов в борьбе против рака и против жадности и еще против той злокачественной жадности, которая порождает войны.

Мы желаем вам жизни, полной хитроумных задач и свежих от росы яблок, полной удивительных книг (почему бы не быть среди них и книгам, написанным вашей рукой?), полной ошеломительных друзей и спокойной дружбы, — жизни, полной во всех отношениях. Дорогие друзья, хорошие вы наши, — мы желаем вам всего самого хорошего.

Перевод С. Фридлянд

Третий гвоздь

Новая квартира была недурна, но самое лучшее в ней был булочник. Я не из-за него переехал, но из-за него я бы никогда отсюда не уехал. Он пек булочки, о каких все уже давным-давно и думать забыли. Похоже было, что некая исчезнувшая гильдия умельцев оставила на земле одного из своих, дабы показать миру, чего он лишился.

Да, иной раз тебе еще попадется помидор со вкусом помидора. Иной раз огурец пахнет терпко и сладко, как пахли некогда огурцы. Иной раз клубника не только внешним видом напоминает клубнику. Но это большая удача. А удача — это понятие исключительное.

Слова мои могут оказаться несправедливыми, раз известно, что я нашел булочника, булочки которого еще хрустят на зубах и согревают твой карман, пока ты несешь их домой. А нагим зимним утром от их аромата невольно приподнимается твой нос. Нет, они не кислым воздухом наполнены и не холодной замазкой. Их буквально слышишь, когда в них входит лезвие ножа, дабы отделить двойной горбик с золотистым рубцом от пористой коричневатой нижней корки.

Да, слова мои могут показаться несправедливыми, когда речь идет о таких булочках и о таком булочнике. Быть может, я несправедлив, но, быть может, у меня есть на то основания, и тогда я справедлив. Давайте спокойно разберемся.

Само собой разумеется, булочник пек булочки не для меня одного. Увидев впервые очередь перед его дверью, я твердо решил, что никогда не стану ее составной частью. Уж так хороши никакие булки быть не могут, подумал я. Но, откусив от древнего хлебобулочного изделия из кооперативного магазина, я несколько поколебался в своем решении. И в одно прекрасное утро встал в хвост к булочнику.

"Булочник открывал в семь. Информация, в правильности которой можно поклясться. В самом деле, он открывал в семь, и за полчаса до открытия я становился в очередь. Женщина, стоявшая передо мной, тотчас смекнула, что я тут новичок, и за то, что я в ответ на ее ошеломляюще цепкие вопросы начал по частям выдавать мою биографию, посвятила меня в технику добывания булочек у булочника Швинта. Говорила она чуть громче обычного, как это делают люди, тугие на ухо.

— Вы у нас новичок? — спросила она и тут же добавила. — Вы у нас новичок. — И добавила. — В полседьмого как раз вовремя. Слишком долго стоять не придется, и слишком поздно

не будет. Вы новый жилец у Шлоссеров? Но вы не похожи на холостяка. Или вы в разводе? Стало быть, в разводе. Если будете приходить в полседьмого, то наверняка получите булочки. А кто позже встает, тому достаются хлебцы. Хлебцы Швинта недурны, но булочки Швинта точно с кайзеровского стола. А там, откуда вы переехали, тоже был такой булочник? Нет, не было, иначе вы бы не переехали. Покажите-ка вашу сетку! Ну, эта пойдет, но не являйтесь к фрау Швинт с пластиковыми сумками, куда ей приходится запихивать булочки силой, а то она станет давать вам самые мятые. И жесткие пластиковые сетки она терпеть не может, ее от них тошнит. Самое лучшее — льяной мешочек, мягкий, как булочки Швинта, и должна вас предупредить — Швинт сидел за убийство, он ревнив.

По мне, пусть ревнует, я желал только его булочек. Но чуточку мне ее слова польстили, ведь женщина меня совсем не знала и свое предостережение высказала по одному внешнему впечатлению.

Однако я очень скоро понял, что булочник ревнует невзирая на лица. Любой мужчина, оказавшийся рядом с его женой, вызывал его подозрение, и он не давал себе труда скрывать это.

Большого смысла в его ревности не было, ибо булочница, хоть и вполне миловидная, целиком отдавалась продаже булочек. Как муж ее слыл мастером своего ремесла, так она была мастерицей своего. Она знала, кто берет бледные булочки, а кто любит поджаристые, она резала хлебы так, что доли его действительно были половинками, большую часть покупателей она знала по именам, она благодарила и здоровалась, для детей и стариков находила особое словечко, а кто болел, тому позволялось быстренько сказать, что теперь он чувствует себя лучше.

Сколь высокого класса она была мастерицей, ясно было из поступков ее покупателей. Они сами следили, чтобы она могла работать бесперебойно, для чего во всех своих действиях подлаживались под ее действия. Деньги, сколько было нужно, все держали наготове, взрослые помогали детям, а молодые женщины следили, чтобы щетинистые дедушки и глухие бабушки не задерживали движения.

Опытные же покупатели посвящали во все тонкости новичков, как, например, фрау Лёрке меня:

— Если хотите регулярно получать булочки, так покупайте регулярно пирожные. На булочках Швинт ничего не зарабатывает, а пирожные у него так себе. Но если вы не станете их покупать, так скоро почувствуете. Не все булочки Швинта как одна, и те, которые не удались, получите вы. Или окажется, что вы опоздали,

и придется вам брать хлебцы. Но если вы покупаете пирожные, фрау Швинт пошарит за горой хлебцев, где у нее отложены для покупателей пирожные. Как вас зовут, вы можете сказать, когда Швинт будет в лавке. Лучше всего, если вы скажете это ему, тогда он не подумает, что вы хотите чего-то от его жены. Если Швинт так подумает, хорошего будет мало. А как вас зовут?

— Меня зовут Фарсман, — сказал я и подумал: ради того, чтобы получить удовольствие за завтраком, все это, пожалуй, слишком накладно, а иной раз звучит едва ли не угрожающе. И еще я подумал: жизнь — сложнейшая система, и не только вся в целом, но и во всех ее частях.

Люблю размышлять на подобные темы; мне это доставляет все больше удовольствия, особенно с тех пор, как я живу один. И люди стали теперь больше возбуждать мое любопытство, что, вообще-то говоря, удивительно — после развода я о людях вообще слышать не желал. Но теперь я с участием наблюдал за тем, как равномерно и непрерывно течет очередь постоянных покупателей Швинта мимо расторопной булочницы, и получал истинное удовольствие, наблюдая, как проворно совершается обмен между ею и покупателями. Я наблюдал за фрау Швинт и слушал ее с наслаждением чисто технического толка, но когда в теплом облаке булочного аромата в лавку вошел булочник, внося свежие изделия, я все-таки осторожности ради перевел взгляд на слоеные пирожные и рогалики. Недаром же фрау Лёрке меня предостерегала.

Булочник поздоровался, и двенадцать покупателей в лавке дружно ответили ему, по их тону было ясно, что это король вышел показаться своему народу. Король заполнял бреши на полках с белым хлебом; делал он это не глядя. А разглядывал нас, причем с интересом, в данном случае неудивительным. В конце-то концов, пек он свои восхитительные редкости для нас, и потому его заботило, имеет он дело с ценителями или с профанами. В конце-то концов, он из-за нас поднимался глубокой ночью и потому вправе был разглядывать нас так пристально. В конце-то концов, он вносил в нашу жизнь наслаждение и потому вправе был на всякие взгляды.

Все это хорошо, но поступал булочник, оглядывая нас, весьма странно. Он, правда, не пропустил никого, но от одного отводил взгляд очень быстро, а на другом задерживал его надолго. На восьмерых женщин, не считая его собственной жены, ему потребовалось не так много времени, как на каждого из нас — четырех мужчин, и из них опять-таки я получил львиную долю.

Говорю я так не в похвалу себе и не из тщеславия. Я был новичок, к тому же это зависело от возраста других покупателей-

мужчин. Кто знает, какова была жизнь, которая скрючила их и посеребрила их головы; но они были старые и седые, старые и скрюченные, и ни один булочник с молодой женой не стал бы терять из-за них покой.

Из-за меня тоже не нужно было никому терять покой — ни булочнику, ни мяснику, ни сукностригальщику. Не зажила еще рана, которую нанес мне развод. Мне надобны были только свежие булочки, а не новые дамы.

Но этого булочник знать не мог, да это его вовсе не касалось. Я хотел одного — совершать обмен денег на товар, а при подобных отношениях чувства только мешают. Мы с тобой, подумал я, вернув ему его взгляд, будем связаны единственно платежами, что ж до чувственности, так с меня хватит ощущений, которые я испытываю, впиваясь зубами в свежую булочку.

Возможно, это моя фантазия, но мне показалось, что мнительный булочник успокоился. Он вытащил из кармана халата два льняных мешочка, один белый, другой клетчатый, и стал выбирать из своих отборных булочек самые отборные. В клетчатый мешочек он уложил восемь на диво пропорциональных и на диво золотисто-коричневых булочек, а белый мешочек наполнил десятью различными образцами из ассортимента — булочками бледными и темными, хлебцами плоскими и пышными и двумя рогаликами, один был хрустящий, другой молочно-белый и мягчайший.

Мастер, что было очевидно, с давних пор набил руку, отбирая и упаковывая булочки, а сам процесс явно относился к утреннему ритуалу, ибо никто, кроме меня, не выказал ни малейшего к нему интереса или удивления. Я был удивлен, признаюсь; булочник целиком завладел моим вниманием, и потому я заметил, что и я завладел его вниманием.

Обычно даже по спине мужчины можно уловить, есть ли ему дело до того, здесь ты или нет. Поэтому я увидел, что, как только подошла моя очередь и я оказался перед булочницей, ее супруг, затаив дыхание, выслушал мои слова. Произнести, собственно, мне следовало только: «Пожалуйста, две булочки!» Вместо этого я сказал:

— Шесть булочек, пожалуйста: две поджаристые, две бледные и две обычные, если можно!

Спроси меня кто-нибудь о причине: меня, видимо, подхлестнуло количество булочек, которое отпускал самолично хозяин. Мне казалось, думаю я теперь, что не подобает вступать в сообщество постоянных покупателей с грошовой покупкой, а дифференцированным заказом я, по всей вероятности, хотел показать, что во мне можно предполагать знатока.

Мне и в голову не приходило скрывать, что я — человек одинокий, но по спине господина Швинта я прочел, как он понял мой заказ: у человека есть жена и ребенок, и они для него кое-что значат. Они не просто берут, что он приносит, а он приносит то, чего они хотят. Они обладают собственным вкусом, который он принимает в расчет. Новый покупатель — чуткий и заботливый отец семейства. Стало быть, отбой, в известной, хотя бы, степени.

Ну, а что до меня, мой добрый друг, подумал я, увидев, как расслабилась спинная мускулатура булочника, что до меня, то вам вообще незачем бить тревогу. Я вышел не на охоту за юбкой. Я совсем недавно побывал у судьи по бракоразводным делам и не желаю его больше видеть. У меня на глазах, глубокоуважаемый мастер-булочник Швинт, моя жена из нормального человека превратилась в юридическое лицо, и это произвело на меня самое мерзопакостное впечатление.

Так я думал и так сказал бы, если бы уже на сей раз нам с господином Швинтом довелось побеседовать и были бы мы при этом одни. Но мы были не одни, и я был еще новичок. Поэтому я заплатил за булочки и вышел из лавки, а на пути домой стал себя ругать — ведь теперь я вынужден постоянно покупать тройную порцию потребных мне булочек, ибо две поджаристые, две бледные и две обычные — это, во всяком случае, фрау Швинт, господин Швинт и тугая на ухо фрау Лёрке взяли себе на заметку. Стоит мне ограничить в дальнейшем заказ двумя булочками, так я наверняка подвергнусь допросу со стороны фрау Лёрке.

Но допрос и без того состоялся на другое утро. Соседка Лёрке хотела знать, вправду ли я съедаю за завтраком шесть булочек и почему таких разных. Но я хорошо подготовился. Я выдумал для нее двух сослуживиц и намеками дал понять, что между ними и мной существуют близкие отношения, такие близкие, что я по сути дела не для себя, а оказывая услугу обеим дамам, встаю чем свет в очередь к булочнику. Фрау Лёрке моя история очень понравилась. Постепенно я и сам стал чувствовать симпатию к двум особам, которых измыслил, дабы объяснить фрау Лёрке потребляемое мною количество булочек. Они были несказанно обаятельны, обе. Характером и обликом более разных не придумать, и только в одном были они похожи: в их серьезной привязанности ко мне. К тому же — хорошо, что я этого не забыл, — и еще в другом были они схожи: они — иначе я не искал бы их близости, — они были не замужем. Но в остальном они резко отличались друг от друга, что можно заметить по булочкам: одна, поджарая, любила поджаристые, другая, пышная, предпочитала пышные. Игра слов вызвала у фрау Лёрке смешок.

Кто знает, как она меня поняла. Она и впрямь плохо

слышала. Например, она считала, что я бухгалтер книготорга, а я, в ответ на один из ее бесчисленных вопросов, сказал, что я бухгалтер и книголюб. На первый взгляд как будто не так уж важно, но позже выяснилось, что очень даже важно.

Пока фрау Лёрке плотоядно выспрашивала меня о моих бухгалтершах, это было неважно, а в первую же субботу вся эта путаница пришлась мне очень кстати. Я, не подумав, заказал все те же три пары булочек, и тут весьма кстати оказалось, что книжные магазины работают и по субботам, а другие учреждения, напротив, не работают.

Если ты бухгалтер и живешь на бухгалтерскую зарплату, так две иллюзорные невесты становятся довольно накладными. Лишние булочки и так обременили мой бюджет, но не мог же я покупать себе пирожные, как посоветовала мне фрау Лёрке, не обеспечив обеих моих подруг эклерами и слойками.

Избыточные булочки, которые я приобретал только потому, что спина булочника выдала его подозрения, не только в финансовом смысле вывели меня из равновесия: у меня никакой охоты не было толочь несъеденные булочки и получать панировочные сухари, тем более что я не знал, на что мне вся эта куча сухарей, а бросать в пасть мусоропровода оставшиеся лишние пирожные совесть не позволяла. Оттого-то я и стал захватывать изумительные булочки и не столь изумительные пирожные в мою бухгалтерию, а тут запутался еще больше: теперь у нас все захотели таких чудесных булочек, и мне пришлось выпутываться и выдумывать, что у булочника Швинта до сих пор ограниченный контингент покупателей. Но пирожных скоро никто, кроме прожорливой фрейлейн Вейгель, есть не хотел, и тотчас о нас с фрейлейн Вейгель начали судачить.

С чисто бухгалтерской точки зрения моя затея была нерентабельна: пять раз в неделю подъем на полчаса раньше, десять-двенадцать марок в месяц лишних за ненужные мне булочные и кондитерские изделия, утомительный интерес фрау Лёрке к моей двойной любовной истории, благодарность фрейлейн Вейгель и колкости сослуживцев и, наконец, усилия, которые все-таки требовались, дабы общение с фрау Швинт ограничилось удовольствием от хрустящих булочек, что в свою очередь требовалось возможно яснее дать понять опасному булочнику соответствующим поведением, — все это из-за двух булочек было явно неразумно с математической точки зрения.

Только математика мало что значила, когда я впивался зубами в булочки Швинта. Это были такие булочки, что всякие расчеты отпадали. Это была сама жизнь.

Звучит, может, утрированно, но я воспринимал их именно

так. Или точнее говоря: я мог их так воспринимать, когда все-таки подсчитал и вычислил, что стоимость одной булочки, действительно мной съедаемой, превышает семьдесят пфеннигов, не учитывая подъема спозаранку и мук совести. Бухгалтер во мне воспринял этот факт как чистое безрассудство, и оттого каждое утро, впиваясь зубами в мой сверхдорогой завтрак, я представлялся сам себе этаким разудалым молодцем. В таком настроении я приходил на работу, и в конце концов сослуживцы стали говорить, что развод повлиял на меня благотворно.

Я, правда, знал, что это не так, но не возражал и не сопротивлялся, когда ощутил, что язык у меня стал бойчее и руки-ноги стали двигаться свободнее.

Разумеется, считать булочки самой жизнью — преувеличение, но, бесспорно, жизнь вновь привлекла мое внимание, когда в то утро после переезда я встал в очередь перед лавкой Швинта. А когда я как-то другим утром впервые вступил в разговор с булочником, я уже не робел, я был разве что ему благодарен. И меня ничуть не удивило, что фрау Лёрке сообщила этому человеку обо мне все известные ей сведения. В конце-то концов, она и меня снабдила всеми сведениями о нем, включая данные из списка лиц, имеющих судимость.

А что мы с булочником оказались в лавке одни, объясняется гриппом, который удерживал меня до двенадцати в постели, до того часа, когда, как знали постоянные покупатели, ни булочек, ни даже хлебцы купить было уже нельзя; фрау Швинт хлопотала в это время на кухне, к немногочисленным покупателям выходил ее муж.

Он спросил:

— А что, сегодня в книготорге выходной?

Мне понадобилась секунда-другая, дабы расшифровать эту фразу, но когда я уразумел, какой смысл она в себе несет, я понял, что фрау Лёрке пересказала булочнику все касательно меня, включая свою ослышку.

— Только у меня, — ответил я. — Легкий грипп.

— Н-да, видите, — сказал он, — я себе этого позволить не могу.

Мы с различных точек зрения обсудили проблему огромной ответственности, которая лежит на независимом мастере, владельце булочной, но именно господин Швинт под конец объявил, что его профессия имеет и приятные стороны.

— Стоит мне подумать, — сказал он, — скольким ближним своим я скрашиваю начало дня, как я чувствую огромное удовлетворение.

— Да, — ответил я, и мне удалось подпустить в интонацию

зависти, — кому дано это познать — тот человек счастливый.

Булочник испытующе посмотрел мне в глаза, казалось, он что-то обдумывает, и при следующих его словах у меня создалось впечатление, что разговор наш перемещается в новую, высшую фазу. Ибо господин Швинт высказал мнение, что и бухгалтер книготорга имеет возможность скрашивать людям жизнь.

С таким предположением я спокойно собирался согласиться, но, прежде чем я это сказал, господин Швинт присовокупил к нему некую загадочную фразу:

— Правда, я больше думаю в этом случае о вечере, чем об утре, ведь наш брат только вечером может себе это позволить, утром у нас одни булочки на уме, вы ж понимаете!

Я ровным счетом ничего не понимал, но господин Швинт, видимо посчитал выражение моего лица соответствующе верным для данного этапа нашей сделки. А что мы заключали сделку, я понял из его последующих слов:

— Предположим, я был бы вашим клиентом, тогда получилось бы, что вы ищете у меня отрады для утренних часов, а я у вас — для вечерних. Если бы я вам сказал: не принесете ли вы мне что-нибудь отрадное на вечер? — вы бы наверняка подумали: уж этот мне Швинт, да он рехнулся! Я каждое утро стою полчаса в очереди у него в лавке, и за это еще должен ему что-то на прилавок выложить? В чем же тут, подумали бы вы, моя выгода?

Я, однако, в своих раздумьях до этого еще не дошел. Я остановился на вопросе, что подразумевает этот человек под отрадой вечерних часов и каким образом книготорг может быть в этом замешан, и я воскликнул про себя, что вот он, удобный момент, когда мне следует сказать мастеру Швинту об ослышке его покупательницы Лёрке.

Появление пожилой женщины прервало загадочный диалог между булочником и мной, но и в перерыве я не смог его обмозговать, ибо разыгравшаяся на моих глазах сцена с грубой наглядностью показала мне, чего можно ждать от булочника Швинта, если не прийти вовремя в лавку.

— Но, фрау Людериц, — сказал булочник, — уважаемая моя покупательница, о чем только вы думаете? Булочки, сейчас? Хлебцы? Рогалики в это время? Как давно вы у меня покупаете хлеб, фрау Людериц? Вы же знаете, что в это время даже сухой крошки не остается!

Господин Швинт отпустил фрау Людериц пол серого хлеба и обратился ко мне, ибо он был не из тех, кто промолчит в надежде, что инцидент сам по себе воздействует на свидетеля.

— Да, да, господин Фарсман, — сказал он, — вот как бывает, если человеку нечего предложить. Жестокий мир, но ни вы, ни я

его не создавали. Вот пусть каждый и крутится.

Я попросил вторую половину серого хлеба и хотел идти, но булочник решил во что бы то ни стало заключить со мной сделку.

— Господин Фарсман, — сказал он, — с тех пор, как вы мой покупатель, я к вам приглядываюсь. Вы, заметил я, человек наблюдательный. Вы не раз видели, как я наполняю булочками два мешочка. Но чего вы не видели, так это куда я оба мешочка деваю. А я вешаю их в уголке двора на два определенных гвоздя. За одним мешочком приходит мой зубной врач, за другим — тот человек, который заботится о моей машине. Там есть еще третий гвоздь, но больше, и это железно, гвоздей там не будет.

Господин Швинт замолчал, но молчание его словно подсказывало мне, что мне следует сказать:

— Так вы считаете, что третий гвоздь… О, это прекрасно, только надо мне поточнее знать, какую ответную услугу имеете вы в виду.

— Разумеется, господин Фарсман, а то вы еще притащите мне книги по астрономии или болгарские поваренные. Хотя, думается мне, я выразился довольно точно. Отрада для часов вечерних, вы понимаете?

Теперь я тоже так думал, но сказал, что, насколько мне известно, предложения нашей книготорговли в этой области не слишком разнообразны и не особенно четко профилированы.

— Насколько вам известно, господин Фарсман, ну и шутник же вы! Я и не хочу ничего необыкновенного, я хочу только то, что имеется, но чего я никак получить не могу. К примеру, если вы мне достанете эту китайскую штуковину «Чинг, Пенг, Мек», так вам не придется больше покупать мои торты и пирожные.

Я был слишком поглощен сделкой, в которой пока мог участвовать лишь наведением справок, и потому у меня не нашлось минутки, чтобы подивиться самокритике булочника по отношению к собственным изделиям, но перспектива избавиться от принудительной покупки пирожных, равно как от благодарности фрейлейн Вейгель и пересудов на работе, а также от бессмысленного денежного бремени заставила меня согласно кивать в ответ на то, что преподносил мне господин Швинт; когда же я понял, что главный мой выигрыш — все рабочие дни две теплые булочки плюс полчаса сна, я воскликнул, зная по кинокартинам, как это делается:

— По рукам!

И булочник Швинт тут же доказал, сколь пунктуально собирается он соблюдать нашу сделку; он полез в какой-то потайной ящик — это, конечно же, был потайной ящик — и выложил мне шесть булочек: две поджаристые, две совсем

бледные и две обычные.

Я заплатил, поблагодарил и ушел, устояв перед соблазном воспользоваться случаем и освободиться заодно от моих двух призрачных возлюбленных, ибо подозревал, что господин Швинт видел во мне человека, который с пониманием отнесется к его желанию, поскольку я открыто признавался в двух подругах.

Кстати, он, видимо, считал, что они посещают меня и больного, он ведь дал мне булочек и на их долю, хотя знал, что я сегодня не иду в книготорг.

На этом месте я прервал свои размышления и рявкнул на себя: эй, псих, ты же не в книготорг пошел бы на работу, если бы пошел. Если бы ты пошел, то пошел бы в свою бухгалтерию, а как ты там раздобудешь эту проклятую книжонку «Цинь, Пин, Мей»[3], одному богу известно!

Я очень хорошо помню, как дико вел себя мой кузен, одолживший мне как-то раз этот китайский роман. Он потребовал с меня залог и каждый вечер забегал, дабы убедиться, что эта бульварщина еще у меня, а потом интересовался, сколько я прочел, и тогда обсуждал со мной пикантные места, в конце же концов он выказал склонность расписывать мне пикантные места своей собственной биографии. Но в этом деле «Цинь, Пин, Мей» была много лучше.

Плохо было другое; прочитав эту книгу, я ошибочно посчитал, что во всех толстых старых китайских книгах полно таких вольностей. Я потратил уйму времени, разыскивая вкрапленные в них неприличия, но, в сущности говоря, получил информацию лишь о меню, оскорблениях на дуэли и философских взглядах, не очень-то мне понятных. Знать все это вовсе не вредно, но практическая польза от этого чтения весьма ограниченна. Чего нельзя сказать об информации, полученной мной из книги «Цинь, Пин, Мей», но, попытавшись раз-другой это доказать, я скоро заговорил, как мой кузен, чего я, конечно же, хотел бы избежать.

Избегал я также думать о том, что в моих силах выпросить у кузена в пользу булочника и, стало быть, в мою пользу описание китайских обычаев. Он еще тогда, когда дал мне почитать эту книгу, охотнее всего привязал бы ее длиннющей прочнейшей веревкой, которую дергал бы, желая меня проконтролировать.

Вдобавок он никогда не поверил бы мне, что я от этого буду иметь всего-навсего чуть больше денег, чуть больше времени для сна и чуть больше удовольствия от завтрака. Этого родственника я мог спокойно опустить, размышляя над путями, которыми можно было раздобыть «Цинь, Пин, Мей».

Но все-таки в конце концов мне осталось только обратиться к

нему, ибо среди моих знакомых ни один не признался, что владеет сим пикантным опусом, — кроме фрейлейн Вейгель, у которой я в своей беде тоже спросил о книге. Никогда еще, сказала фрейлейн Вейгель, к ней не обращались с таким откровенным предложением, но она ценит это, и если я вечером зайду к ней, то мы, распределив роли, почитаем избранные места. По манере, с какой она ткнула меня пальцем в ребра, попросив не забыть слойки и эклеры, я понял, что она отличалась не только прожорливостью. Мне было все это весьма неприятно, ибо фрейлейн Вейгель сообщила всему отделу о моем предложении. Так она, во всяком случае, сказала — предложение, и у нас в бухгалтерии несколько дней все, не считая меня, очень даже веселились. В ответ я лишил фрейлейн Вейгель швинтовского торта. Я отдал его глухому на Гуманн-плац.

А булочник-книголюб вел себя тоже очень странно. Если раньше он входил в лавку, чтобы доставить свежие булочки, или наполнить оба льняных мешочка, или проверить, не пожирает ли какой мужчина его жену плотоядными взглядами, то теперь он появлялся всегда, когда я был в лавке, начинал с вопросительной мимики, но затем переходил к пантомиме, и, буквально присасываясь ко мне взглядом, помахивал мешочками зубного техника и автотехника, и под конец так натягивал кожу У глаз, что они сужались в две весьма многозначительные щелочки.

Понятно, мне не оставалось ничего другого, как с сожалением пожимать плечами, и понятно, что наш обмен жестами не остался ни для кого секретом, и, стало быть, для булочницы он тоже не остался секретом. Однажды она растерянно глянула на мужа, потом на меня, и я в ответ тоже с сожалением пожал плечами. Я хотел всего-навсего дать ей понять, что не отвечаю за мимику ее мужа. Но тот внезапно в глубокой задумчивости поглядел на свою жену, а потом на меня… ох, этого мне только не хватало.

Я крикнул, и в голосе моем слышалась благая весть:

— Как всегда, фрау Швинт, две обычные, две меня и еще, как всегда, две бледные и две поджаристые!

До булочника моя благая весть дошла, и он удалился в пекарню, а я вернулся домой весьма озабоченный, после чего, все еще озабоченный, отправился на работу. Да, явно настало время раздобывать эту китайскую книжонку, ведь булочник, как известно, был чокнутый. Кто знает, к каким пантомимам был он готов, дабы недвусмысленно напомнить мне о романе «Цинь, Пин, Мей» и его волнующих сценах.

Если был человек, имевший основание считать булочками те сморщенные хлебные комки, которые магазины предлагают под

товарным наименованием «булочки», и избегать порога булочника Швинта, так это был я. Но я, и я это с ужасом понял, оказался полностью во власти булочек булочника Швинта. Я был одержим страстью, о которой, возможно, свет еще не слышал, я был одержим болезненной страстью к булочкам.

А болезненная страсть есть болезненная страсть. Будь то пьянство, обжорство или ревность, почти безнадежно от нее избавиться. Стало быть, ты и предаешься ей. Стало быть, ты должен расплачиваться. Стало быть, господин Швинт должен получить свою книжицу «Цинь, Пин, Мей». Стало быть, я должен отправиться к кузену.

Я сразу же спросил кузена, не продаст ли он мне этот китайский бестселлер, а он, ни минуты не раздумывая, ответил:

— Ни за какие деньги!

Это, однако, ничего не значило, ведь не зря он довольно долго продавал старые машины. «Ни за какие деньги!» значило «За очень большие деньги!» или «Хоть и не за деньги, нет, не за деньги, но я готов выслушать предложения».

Правда, я не мог ничего предложить ему. Бухгалтер и в этом смысле должность с весьма ограниченными возможностями, ибо такой товар, как деньги, у нас встречается только в виде знаков, а захоти кто получить их в подлинном виде, пришлось бы ему вступить в весьма разветвленные связи. Но тут уже начинается уголовщина.

Во время сделок в самый решительный миг принято скорее молчать, чем болтать, а раз я ничего другого и не мог, то замолчал после восклицания кузена и, дабы использовать текущее время, стал размышлять: булочник, к примеру, думал я, выдал бы мне без единого слова вторую половину того серого хлеба, первую половину которого получила бедняжка фрау Людериц, будь я для него просто бухгалтером. Ни словом не обменялся бы он о вечерних радостях с каким-то бухгалтером, не говоря уже о дельце, в котором были замешаны свежие булочки и хоть старая, однако вполне свежая история.

Я как раз обмозговывал вопрос, не являемся ли нынче мы, бухгалтеры, истинными пролетариями, когда мой кузен воскликнул вторично:

— Ни за какие деньги! Но, — продолжал он и придал своему лицу выражение, какое, думается мне, придают короли в сказках своим лицам, давая бедным странствующим подмастерьям немыслимые задания, — но, — повторил кузен, — если ты достанешь мне билет на бал в зоопарк, то китайский фолиант твой.

Да, он как-никак мой родственник, и я не вправе сказать, что

прочел в его лице коварство, но билеты на бал в зоопарк — это черт знает что! Билеты на этот бал даже при фантастических обстоятельствах получить невозможно.

Мой кузен знал это и знал, что я это знаю. Судя по доходившим до нас вполне достоверным сведениям, участники сего гулянья были особы столь же сиятельные, какие в последний раз наблюдались на тонущем «Титанике». Торговцы антиквариатом, диспетчеры экспедиционных контор, вулканизаторы, модные парикмахеры, руководящие руководители, приемщики объявлений, владельцы лакировочных мастерских и гаражей, родственники родственников, продавцы транспортных средств и продавщицы магазинов моды — всех их весьма мало касались дела зоопарка, зато весьма близко касался бал, названный его именем.

Чудеса, думал я в шоке от экстравагантного требования кузена, чудеса, что булочника Швинта нет в числе избранных, хотя ему легче легкого было бы туда попасть, — известный мешочек на известном гвоздике на известной балке на известном дворе… Но, видимо, они не знали о существовании друг друга, человек с билетами на бал и Последний Истинный Булочник, и это хорошо, иначе что бы делал я, заключи они между собой сделку? Я бы остался вне игры, поскольку раздатчик столь желанных билетов наверняка умел раздобывать и китайские романы с гривуазным уклоном. Зачем тогда, с какой для себя выгодой стал бы булочник Швинт что-то вешать для меня на гвоздь?

Мне пришлось бы и дальше вставать в полседьмого утра в хвост, пришлось бы и дальше обременять свой бюджет и продолжать сказочку о несбалансированном любовном очаге, никогда не перестал бы я возбуждать подозрение булочника, питаемое им ко всем мужчинам, с которыми он не заключает сделок, а главное, мне пришлось бы и дальше блуждать в дебрях, где теплая булочка — только милость, но никак не верняк.

Какое же счастье, что обладатель билетов ничего не знал об обладателе булочек, и случись мне — теоретически — встретить первого, как я встретил второго, я бы не сказал Властителю Бала ни слова о существовании Последнего Великого Булочника.

Но это была лишь абсурдная гипотеза, и я сказал кузену, что мы по рождению и положению вовсе не те люди, кто вхож на подобный бал, и как, ради всего святого, пришла ему в голову этакая безумная идея.

Нет, серьезно, он увидел девушку, кормившую каракулевых овец, и, серьезно, он надеется отыскать сию неповторимую прелестную чудо-пастушку в бурлящей роскоши празднества.

— Там, — сказал он, и при этих словах матерый владелец «Цинь, Пин, Мей» покраснел, — там я с ней заговорю.

Ну-с, возможно, кто-нибудь и найдется, кто, подобно мне, готов ради двух булочек впутаться в мудреное переплетение интересов, однако не способен оценить выражение лиц своих ближних, а я вот счел выражение лица моего кузена более чем странным. Единственным объяснением тому служила любовь, ибо единственно в любви никакие сделки не имеют силы.

Эту истину уясняешь себе, осознав, что кузен готов расстаться с «Цинь, Пин, Мей», при условии, естественно, если благодаря этому он встретится с девушкой, от которой, надо думать, чуть-чуть попахивает овцами.

Безумие кузена подстегнуло и меня: я расспрашивал всех подряд, пока не сыскал человека, распределяющего билеты на бал в зоопарк. Разумеется, это не было его основной профессией, по профессии он был Первый Уполномоченный по Охране Государственной монополии на винокурение и продажу спиртных напитков и, как таковой, был человек железный.

Принял он меня за какого-то странного авантюриста, так как я без всяких околичностей попросил у него билет на бал, и потому не стал тратить на меня ни сетований, ни аргументов, а просто рассказал мне наиболее драматические случаи из своей жизни двойного стража — государственных и общественных интересов.

Посягательства на винную монополию были по сравнению с происшествиями, которые имели место, когда речь шла о билетах на бал, просто детской шалостью, и насколько устойчивой была Государственная винная монополия, настолько неустойчивым был принцип справедливого распределения билетов на праздник в зоопарке.

У двойного стража просто в голове не укладывалось, как это получается, что он вручает билеты добропорядочным зав-отделами, бригадирам и лучшим спортсменам, а когда дело доходит до торжественного полонеза, то сомнительный мороженщик с улицы Пренцлауэрберг приглашает на танец даму, Снимающую благоприятную должность в бюро по приему заявлений, а потому имеющую возможность заранее ознакомиться с наиболее заманчивыми из таковых.

— И как это им удается, — удивлялся Первый Уполномоченный.

Казалось, он не в состоянии поверить, что люди могут обделывать какие-то темные делишки, и потому я ограничился расплывчатым замечанием, что у людей, мол, есть связи, но он и тут ничего не понял.

— Связи, — сказал он, — вот я и спрашиваю: как завязывают люди эти связи? Они же не могут дать в газету объявление: «Предлагаю билеты на бал, ищу…» Или: «Ищу билеты на бал, предлагаю…» А что, собственно, предлагаете вы?

— Я ничего не предлагаю, — ответил я, — я только ищу! — И в моих словах послышалось странноватое звучание правды.

Поняв, что я действительно ничего не предлагаю, я был озадачен и готов был в этом видеть причину своей отваги. Пожалуй, я и вправду поступал отважно, вот так, без каких-либо сподручных средств, разыскивая входные билеты на праздник, пользующийся самым шумным успехом, отважно или безумно, ибо без средств — значит, без перспектив.

— А что вам нужно? — обратился я к Первому Уполномоченному по Охране Государственной винной монополии, и наверняка он приказал бы меня арестовать после этого вопроса, была бы тема нашей встречи винно-налоговая.

— А у вас и вправду ничего нет? — спросил он.

— Можно сказать, что ничего, — ответил я. — Я знаю некоего ревнивого булочника, который повесит для меня на гвоздь две теплые булочки, если я раздобуду ему некую пикантную китайскую книгу, и у меня есть влюбленный кузен, который отдаст мне эту пикантную китайскую книгу за один билет на бал в зоопарке.

Первый Уполномоченный покачал головой и сказал:

— Два билета!

— Нет, — возразил я, — ему нужен только один. Но Первый Уполномоченный решительно возразил:

— Ему нужно два! Принцип моего распределения — никогда не выдавать один билет. Бал в зоопарке — это бал для любящих пар, а кто хочет попасть туда в одиночку, тот все мне перепутает. Из моих рук все получают только по два билета!

— Ладно, — сказал я, — давайте два.

— Это я рассуждал чисто теоретически, — ответил Уполномоченный, — я только пояснял свой принцип. Вы ничего не предлагаете, мне ничего не нужно, мы можем отлично рассуждать теоретически.

— Интересно, — спросил я, — вам и вправду ничего не нужно? Так-таки совсем ничего?

Уполномоченный, и это было заметно по его виду, досконально себя проконтролировал и наконец ответствовал на мой вопрос:

— Мне ничего не нужно, только это и позволяет мне говорить с вами так свободно. И еще тот факт, разумеется, что у вас ничего нет. Были бы вы, например, служащим загса и было бы у вас одно

свободное место для бракосочетания в пятницу на следующей неделе, тогда я не мог бы с вами так беседовать. Но вы, видимо, не служите в загсе.

— Точно так же, как не торгую книгами, — ответил я. — А вам действительно нужно место в пятницу на следующей неделе?

— Моему сыну нужно. Сперва они вообще не хотели жениться, а теперь вынь да положь им следующую пятницу. Сын потребовал, чтобы я предложил служащей загса за пятницу два билета на бал. Знаете, что я сделал? Я это сделал. И знаете, что ответила мне сотрудница бюро записи актов гражданского состояния? Она спросила, знаю ли я, какой длины список ожидающих место в пятницу. Он такой же длины, как список ожидающих телефон. Чего ей не нужно, так это билетов на бал. А что ей нужно, так это личный телефон.

Он, казалось, недоверчиво заглянул в свою душу и стал свидетелем внутренней борьбы, и то, что он сказал мне после этого, было сообщением об исходе этой борьбы. Он сказал:

— У вас случайно нет связей с кем-нибудь, у кого есть связи на телефонной станции?

Я возразил ему:

— А у вас нет случайно связей с кем-нибудь, у кого есть связи с распределителем билетов на бал в зоопарке?

Ему понадобилось время, дабы увязать свой вопрос с моим вопросом, и тут наконец Первого Уполномоченного по Охране Государственной монополии на винокурение и продажу спиртных напитков осенило, он взволнованно воскликнул:

— Ах, вот, значит, как это делается!

Он принял меня за авантюриста, когда я к нему пришел, но когда я уходил от него, я стал авантюристом. Ибо я шел искать человека, ведающего телефонами. В карманах у меня ничего не было. В сердце моем жила надежда на теплую булочку к завтраку. В памяти моей были собраны пожелания, которые потому только пришли во взаимодействие друг с другом, что существовал я.

Я был человек с намечающимися связями для получения свежих булочек. Я был человек с возможными связями для получения горячительной книги. Я был человек с предположительными связями для получения билетов на бал. Я был человек с мыслимыми связями для получения пятницы — дня бракосочетания. Я был человек с неисключающимися связями для получения телефона. Я так был набит возможностями, что сам себя едва узнавал.

И едва смел думать о предстоящей вот-вот встрече с Тузом, Ведающим телефонами. Ибо что же он потребует от меня и что же в ответ я предложу ему? В конце концов, телефон — это иное

наименование связей. Телефон — это инструмент и символ. Если от чьего-то слова зависит установка телефона, значит, слово его имеет ого какой вес. Как же с ним говорить? Как буду я с ним говорить?

Вот уж и впрямь досадная трудность, но до нее надо было еще преодолеть другие, тоже не сказать чтоб простенькие. Одна из них — выяснить такую подробность, как адрес Туза. Буду краток, поскольку иначе мне пришлось бы написать эпическую поэму: я ее одолел.

Я одолел и другую проблему — добрался до этого самого Ведающего Туза, но прежде я еще раз сходил к булочнику Швинту и встал в очередь, как в обычное утро, и никто, пола-гаю я, не заметил по моему виду, что в это утро я последний раз пребываю среди терпеливо вожделеющих. Две-три мелочи отделяли меня от двора, где на златом гвозде меня ожидали золотые булочки. Две-три формальности затрудняли еще перемену моих обстоятельств.

Всего-навсего телефон, который Ведающий телефонами Туз должен предоставить сотруднице бюро записи актов гражданского состояния, коротко и ошибочно называемой служащей загса. Всего-навсего свадьба, которую надо было внести в список и утвердить на одну из перегруженных пятниц. Всего-навсего раскошелиться должен был страж билетов на бал в зоопарк, равно как и Государственной монополии на продажу спиртных напитков, и выдать два таковых мне. Всего-навсего одну книжонку надо было вырвать из рук некоего кузена, книжонку, в витиеватых оборотах расписывающую всяческие фривольности. Всего-навсего нужно было обязать булочника отныне каждое утро рабочей недели вывешивать на третий гвоздь рядом с мешочком для дантиста и мешочком для механика мешочек для меня. Всего-навсего две ниточки в сети связей нужно было соединить, дабы вызволить меня из покорного стада, называемого очередью, думал я, стоя последний раз в этой очереди, но что никак не желало меня осенить, так это толковая идея, как побудить Ведающего Туза на вышеупомянутое соединение ниточек.

Вскоре тем же утром я сидел в некоей важной приемной и сам себя не понимал: я объехал все водовороты, я обогнул все скалы, только стена отделяла меня от того места, где имелись телефоны, а вследствие этого и вследствие того, вследствие одного и вследствие другого также золотистые булочки, и что же, именно здесь я не знаю, как поступить?

Из моей сумки струился аромат нынче еще тяжким трудом добытых хлебобулочных изделий; две поджаристые, две бледные булочки и две обычные, сегодня еще не съеденные, согревали мне ноги сквозь мешочек, кожу сумки и штанину, голова моя горела,

ибо мысли проносились в ней с быстротой молнии.

Когда дело дойдет до встречи с Тузом, Ведающим телефокаковой вместе с тем является Тузом, Ведающим моими булочками, что мне ему говорить? Может, мне жалобно стенать? Но кто раздает телефоны, тот слышал все на свете стенания. Может, мне что-нибудь приврать? Но у кого в руках телефоны, тот любое вранье в состоянии проверить. Может, мне просто-напросто все ему откровенно выложить, просто взять и все сказать? Но я в глубине души понимал, что человек не становится Ведающим Тузом, если позволяет все себе выкладывать. Делая такую карьеру, выслушивают лишь избранные фрагменты. Но что же в моем случае тот самый, безошибочный фрагмент?

Я этого не знал и как раз намеревался отбросить прочь свои мечтания, когда по приемной прошествовал какой-то туз, в котором по каждому его шагу узнавался Туз Ведающий. Так шагает человек решительный. Так выступает человек, творящий судьбы. Так грядет власть. И вовсе не чванно, а с легким сердцем. По самолично определенному пути мимо всего того незначащего, на что можно приветливо бросить взгляд, однако взгляд невидящий. В темпе, решительно ни от кого, кроме него самого, не зависящем. И я окончательно понял, что здесь мне ничего не обломится, и готов был, как только Ведающий Туз скроется в кабинете, скрыться из приемной.

Но проходя в двух шагах от меня и не доходя еще трех шагов до своей двери, Ведающий Туз притормозил и сделал это с той безукоризненной естественностью, которая дается длительной практикой. Туз приподнял чуточку нос, как и мы, простые смертные, это делаем, когда вдыхаем аромат, и тут я отчетливо увидел перед собой человека средних лет, высокого, с тренированной фигурой, волосы у него были густые, черные с проседью, человека хорошо одетого, пожалуй, чуточку слишком модно одетого, но производящего сейчас впечатление обычного человека, ибо он стоял, раздув ноздри, в волнах аромата, исходящего от булочек в моей сумке и наполняющего приемную.

Могущественный человек глянут на сумку и углядел, что я ее владелец, и сделал знак следовать за ним. Вернее сказать, — а сказать я это должен, ибо обязался быть правдивым, — сделал знак сумке, а ко мне этот знак относился лишь постольку, поскольку сумке без меня трудновато было следовать за ним. Мы последовали за ним, сумка последовала за красивым человеком, а я создал для того условия. Он предложил нам сесть и сказал, беря у меня из рук сумку и открывая ее:

— Вы позволите?

Он вынул из сумки мешочек с булочками и сказал,

развязывая шнурок:

— Вы позволите?

Он сунул свой красивый нос в мешочек, закатил глаза, ощутив дивный аромат, и сказал, осторожно дав булочкам выскользнуть из мешочка на письменный стол:

— Вы позволите?

А потом он долго сидел, разглядывая то, что булочник Швинт так хорошо испек, и в его прекрасном мужественном лице сконцентрировались прожорливость, и страстное желание, и даже смирение, ибо взгляд его упивался неким совершенством, а еще во взгляде его читалось буйство — берегись его тот, кому суждено расстаться с предметом, которого возжелал сей человек. Он прикрыл булочки мешочком, словно желая притушить искрящееся сияние, и спросил меня:

— Где же их берут?

Я назвал фамилию булочника и из чисто компанейских соображений подумывал было, по примеру фрау Лёрке, добавить, что господин Швинт, как подтверждают документы, весьма ревнив, но сидящий передо мной человек внезапно вновь обрел черты Ведающего Туза, и потому я дополнительно назвал только адрес булочника и пока еще обдумывал, как приличнее разъяснить этакому Ведающему Тузу, что, если хочет он получать такие булочки, придется ему одолеть кое-какие трудности, как уже услышал свой голос:

— У булочника во дворе в балку вбито три гвоздя, на один из них нужно повесить этот мешочек с отсчитанными деньгами…

Я хотел разъяснить всю процедуру куда подробнее, хотел объяснить, что мешочек так, ни с того ни с сего булочками не наполняется, хотел сообщить, что есть то да сё, хотел рассказать о булочнике, рассчитывающем подперчить свои вечера китайской литературой, и о кузене, увлеченном девушкой, от которой чуть-чуть попахивает овцами, об огорчениях распределяющего билеты на бал из-за сына и вожделенного дня свадьбы и о служащей загса, у которой не было телефона, но красавца мужчину не интересовало ничто постороннее; он собирался записать себе только фамилию и адрес булочника. Я еще раз назвал ему то и другое, и вскользь спросил:

— А кому же нужен телефон?

Я сообщил ему данные служащей загса, не сообщив, однако, всей связанной с ней истории, ибо Ведающий Туз ясно дал понять, что историй никаких слышать не желает. Истории — это осложненные жизненные ситуации, а Туз предпочитал кратчайшие пути. Он снял трубку с одного из личных аппаратов на столе, нажал кнопку и стал ждать, и, пока ждал, он вновь

втянул носом аромат, который исходил от моих булочек и наполнял его кабинет, и на какое-то мгновение вся служебная броня слетела с него.

Но когда его соединили, он вновь заковался в эту броню. Он прочел адрес служащей загса в телефон и присовокупил:

— Срочно.

Положив трубку, он сказал:

— Проследите, чтобы эта женщина сегодня вечером была дома, и обеспечьте, чтоб с завтрашнего дня мои булочки висели на гвозде. Ассортимент тот же, что у вас.

Он стянул льняной мешочек с моих булочек и стал их любовно разглядывать.

— Вы позволите? — спросил он и взял одну из поджаристых, он обнюхал ее, взвесил на руке, долго разглядывал ее, то удаляя, то приближая к глазам, казалось, даже вслушивался, что у нее там внутри, и в конце концов впился в нее зубами. И словно только теперь уразумев, какую выгодную сделку он заключил, он кивнул и, жуя, промычал. — Прекрасно, мы их берем, я пошлю шофера.

После чего, целиком отдавшись моим булочкам, он проглотил одну за другой все шесть, а у меня было время проанализировать наше дельце. Служащая получила телефон, молодые люди — пятницу для свадьбы, кузен — билет на бал, булочник — китайскую усладу, а человек, у меня на глазах пожирающий мои булочки, будет отныне и во веки веков получать булочки. Мои булочки.

Мои булочки? Но как же так, минуточку, а куда же делся я? Если загсовая тетка может звонить по телефону, что могу я? Если молодым людям будет вот-вот официально разрешено соитие, то что от этого мне? Если мой кузен получил доступ в высшее зоопарковое общество, что достанется при этом мне? Если душегуб булочник по вечерам будет весело настроен, что даст это мне утром?

Все вышесказанное лишило меня каких-либо перспектив получать булочки на третьем гвозде. Все эти сделки выперли из сделки меня. Где-то в этом дельце я затерялся, и этого я не понимал. И этого я не принимал. И ничего не мог поделать. Я мог только вернуться назад в очередь к булочнику, если все завязанные мною связи я обращу в связи действенные. В самом конце цепи я украдкой подсуну на прилавок некую книгу и шепну, чтобы булочник и дальше, даже видя меня в очереди, продолжал вешать мешочек с булочками на третий гвоздь, после чего моя жизнь войдет в обычную колею. Другого мне ничего не остается. Немыслимо рассказать булочнику о моих сделках и

надеяться, что это подвигнет его вбить еще один гвоздь в балку. Я знал, что скажет он мне, выслушав мою историю.

«Да, да, господин Фарсман, — скажет он, — так оно бывает, если тебе нечего предложить. Жестокий мир, но ни вы, ни я его не создавали. Вот пусть каждый и крутится». И Ведающий Туз, на моих глазах как раз пожирающий мою последнюю булочку, вряд ли выскажется иначе, если он вообще станет меня слушать. Скорее всего, он скажет: «Вы позволите?» — и, развернувшись, наподдаст мне под зад. Так думал я и уже с яростью смотрел, как Ведающий Туз слизывает последние крошки моей последней булочки с уголков губ. Но ярость обратилась в язвительность, когда Туз сделал попытку закончить нашу встречу. Он поднялся, и глаза его были устремлены на дверь.

Тут я сказал:

— Не посылайте, пожалуйста, шофера. Булочник Швинт человек странный. И очень гордится женой. Вам следует самому снимать булочки с гвоздя, а если вы иной раз заглянете в лавку и отпустите фрау Швинт милый комплимент, это и вовсе будет булочнику по душе. Раз-другой в неделю шуточка на ушко — посмотрите, как возрадуется булочник!

Ведающий Туз, кажется, не привык, чтобы ему что-то советовали, а что любезности из его уст дамы выслушивали благосклонно, ему было не в диковинку. Он поднялся, вложил в мой мешочек несколько монет и подал его мне, при этом взгляд его выражал категорическое распоряжение. После чего он подтолкнул меня в сторону двери, не забыв сказать:

— Вы позволите?

С тех пор я опять стою в очереди у булочника Швинта, но ограничиваю свои покупки двумя булочками, и от времени до времени половинкой хлеба, а чуть глуховатую фрау Лёрке положительно сводит с ума, что я не рассказываю ей, отчего все так изменилось.

Господин Швинт все еще владеет своей пекарней, а Ведающий Туз, вылезая из служебной машины, точно сходит с высокого коня, дабы прошествовать сквозь ворота во двор булочника.

Дважды уже так случалось, что я наблюдал, как этот видный мужчина входил в лавку сказать что-то на ухо фрау Швинт, отчего оба ее уха вспыхивали огнем. Оба раза так получалось, что булочник был поблизости, и по его мощным спинным мускулам я читал, как внимательно он прислушивается. Теперь, сидя за завтраком, я уписываю свои булочки, словно это последние изделия подобного рода. Ведь иной раз, размышляю я, случается наткнуться на помидор со вкусом помидора. Иной раз огурец

пахнет терпко и сладко, как пахли некогда огурцы. Иной раз клубника не только внешним видом напоминает клубнику. Иной раз булочки попадаются такие, какими они были в свое время. А иной раз ревность бывает такой бешеной, как в старинных романах.

Перевод И. Каринцевой

Вакантное место

О Хааконе Смоллфлите шла молва, будто он всю свою фантазию израсходовал на сочинение псевдонима. Это, конечно, была злонамеренная болтовня, и все же она почти соответствовала истине. Ибо, хотя многие знали, что существует такой писатель — Хаакон Смоллфлит, совсем немногие могли сказать, что он написал. Имя его всплывало чаще всего, когда в стране велась какая-нибудь кампания.

Если где-либо созывался митинг против жестокостей, творимых в чужедальних краях, Смоллфлит непременно в нем участвовал. Когда происходило какое-либо волеизъявление масс, Смоллфлит тоже изъявлял свою волю. Время от времени его подпись мелькала под письмами читателей, одобрявших какое-либо начинание. Под новыми рассказами или стихами она не мелькала уже давно.

Из этого, между прочим, следует, что раньше дело обстояло не так. Раньше оно обстояло совсем не так, потому что поначалу этот писака писал очень много. Когда Хаакон Смоллфлит прозывался еще Хельмутом Нойманом, он был весьма плодовит. Чересчур плодовит, как заявил один из тех бесстрашных критиков, которые раз в жизни отваживаются высказать подобное суждение.

Это высказывание сыграло решающую роль. Нойман придумал себе фамилию Смоллфлит, а однажды, изощряясь в новых изысканиях, присовокупил к ней имя — Хаакон. Сперва он подписывал этим псевдонимом только самые удачные свои вещи, например, литературную сказку, о которой в письме в редакцию сообщал, что ее можно рассматривать как продолжение традиции Шамиссо, но в то же время она совершенно оригинальна. Однако когда он понял, что новое имя придает новым рукописям особый блеск, то бесповоротно отмежевался от Хельмута Ноймана.

И все же этот столь трезво обдуманный шаг подорвал его творческие силы. Он чувствовал, что претенциозный псевдоним держит его в тисках, и в последнее время рассказы, за которые он брался, ему совершенно не удавались. Там, где уместнее всего была бы ясная, простая фраза, мысль, подобная прямой между двумя точками, у него выходили какие-то кренделя и путаные словесные кривые. Там, где надо было спокойно изложить ход событий, он предавался лирическим излияниям. Там, где по ходу рассказа требовалась пауза, Смоллфлит обрушивал на читателя поток эрудиции. Обо всем этом ему прозрачно и намекали в письме, сопровождавшем отклоненную редакцией рукопись. Но в

том же письме содержался вопрос, не согласится ли он, Хаакон Смоллфлит, написать эссе к стодевяностолетию Адальберта фон Шамиссо.

Письмо это вызвало у адресата самые противоречивые чувства. Сначала надо всеми взяло верх возмущение, ибо отклонение рукописи уже само по себе возмутительно. Возникла и тревога о благе общества, ибо ведущие сотрудники ведущего журнала были явно лишены всякого понятия. Не напечатать рукопись Смоллфлита — да этого они просто не могут. Этого им не выдержать. На этом им конец.

Не будь здесь замешано благо общества, можно бы хладнокровно сказать «до свиданья», но о благе общества надо заботиться, да и не может того быть, чтобы редакция, попросившая у Хаакона Смоллфлита эссе о Шамиссо, была бы такой уж безнадежно некомпетентной. Ему, правда, не очень улыбалось откликаться на стодевяностолетие классика. Но, может быть, редакторов журнала интересовал не столько Шамиссо, сколько Смоллфлит. Что было бы вполне закономерно, ибо Шамиссо был мертв, а Смоллфлит жил и здравствовал.

Конечно, люди из журнала не заслужили, чтобы он писал для них статью, но ведь, в конце концов, он пишет не для редакторов, а ради блага общества, и тут уж едва ли важно, что те же самые люди, которые пожелали что-то напечатать к 190-летию Шамиссо, не удостоили вниманием 40-летие Смоллфлита. Так что пусть не удивляются, если в эссе о Шамиссо речь пойдет о современном невежестве и о невежестве современников. В эссе как раз уместны вольные размышления, а отнюдь не строгое следование теме. А быть может, дураки из редакции вовсе не такие уж дураки? Быть может, они навели Хаакона Смоллфлита на его истинный жанр? «Эссе Хаакона Смоллфлита» — такой подзаголовок звучал бы как нельзя более естественно.

Итак, жемчужина у него уже есть, остается вырастить вокруг нее раковину: создать заголовок, которого не могла бы затмить красота подзаголовка, и статью, которая способствовала бы новому расцвету слегка поблекшего жанра.

По-видимому, придется полистать кое-какие книги. Известно, правда, что упомянутый романтик написал «Шлемиля» и «Старую прачку», но, с одной стороны, это известно слишком уж многим, с другой — этих данных для статьи, пожалуй, недостаточно. А поскольку Смоллфлит не забивал себе голову знаниями, дабы в ней оставался простор для мыслей, то и не знал, когда отмечается 190 лет со дня рождения писателя Шамиссо. Ну, это вопрос технический, надо только заглянуть в справочники.

Тут еще раз подтвердилась та истина, что за свои принципы

человеку приходится расплачиваться. Писатель Смоллфлит возвел себе в принцип: словаря писателей не покупать до тех пор, пока он не увидит в нем свое имя. Дело здесь было не в тщеславии, а в логике: там, где есть один пробел, их может оказаться много. А ведь к помощи словаря прибегают именно тогда, когда хотят восполнить пробелы.

Не было у него и энциклопедического словаря, но это уже объяснялось не столько принципами, сколько разводом с женой и бесстыдным заявлением бывшей фрау Нойман, будто словарь Брокгауза напоминает ей счастливые годы, когда они читали его вдвоем.

В первое время после разрыва Смоллфлит иногда позванивал жене, прося ее поискать в энциклопедии то или иное слово, но потом между ними начались новые недоразумения: фрау Пойман заподозрила, что таким способом бывший муж старается ей показать, кто из них больше нуждается в словаре и больше им пользуется, а стало быть имеет на него больше прав.

Итак, о том, чтобы звонить ей, не может быть и речи. Тем более о том, чтобы звонить коллегам. Тут же пойдет трепотня: «Звонит мне этот Смоллфлит и спрашивает, когда родился Шамиссо! Конечно, все знать невозможно, но не знать, когда родился Шамиссо! Говорит, у него словаря нет, но я подозреваю, что он просто не умеет с ним обращаться или думает, будто фамилия Шамиссо пишется по-немецки, а она пишется по-французски, вот он и не нашел».

Бывшую жену не спросишь, нынешних коллег не спросишь; остается последнее средство — воспользоваться произведением печати, которое он ставил еще ниже, чем словарь писателей, где писатель Смоллфлит не значился. Это был литературный календарь, выпускаемый издательством, напечатавшим в двух антологиях два рассказа Хельмута Ноймана, в каждой по одному и всего лишь одним тиражом. Причина крылась не столько в рассказах Хельмута Ноймана, сколько в тематике антологий. Первая называлась «О стремительном натиске эвристики», вторая — «Наше людское сообщество — сообщество наших людей». Однако обе антологии объединяло не только то, что в каждой участвовал Хельмут Нойман, но также и то, что стремительного натиска наших людей не наблюдалось ни на ту, ни на другую.

И все же с тех пор Хельмут Нойман считался постоянным автором этого издательства и даже долгое время после того, как он стал называть себя Хааконом Смоллфлитом, каждый год, не раньше февраля, неизменно получал по почте фирменный литературный календарь.

Это обязательное опоздание могло впоследствии стать

загадкой для литературного мира. Ведь в один прекрасный день люди, которым предстоит заниматься наследием Хельмута Ноймана, обнаружат в оставшихся после него календарях некую упорно повторяющуюся странность. Если большинство дневных рубрик остальных одиннадцати месяцев было испещрено всякими заметками для памяти, то январь во всех без исключения календарях был девственно чист — ни единой записи. По всей вероятности, возникла бы гипотеза, что Нойман, а затем и Смоллфлит рассчитывал в январе поехать отдыхать, а потому не назначал на этот месяц никаких встреч и соответственно не делал никаких записей в календаре. Но столь же вероятно и другое: эта гипотеза будет опровергнута молодым ученым, которому удастся установить, что Нойман — Смоллфлит ненавидел зиму и горы, снег и слалом, да и вообще, согласно тогдашним газетным сообщениям, в январе, как правило, принимал не меньше участия в общественной жизни, чем в сентябре или в мае.

Хаакон Смоллфлит заставил себя отвлечься от мыслей о будущих изысканиях касательно Смоллфлита и вновь направил их на нынешние свои изыскания касательно Шамиссо. Поскольку ему необходимо было узнать, когда явился на свет автор «Шлемиля», он обратился к захудалому литературному календарю, где был представлен кто угодно — Зайц, Айст, Лис, Шпиц, Крот и Курцхар с обозначением даты рождения или даты смерти, а иногда и той и другой; значились там и по меньшей мере три Ноймана, но Хаакона Смоллфлита не было.

Это был не календарь, а позорище, и стоило ли удивляться, если бы там не оказалось и сведений об Адальберте фон Шамиссо.

И все-таки Смоллфлит был удивлен, когда, пробежав глазами указатель имен, не нашел среди них Шамиссо. Такого не могло, не должно было случиться — чтобы в календаре отсутствовал писатель, о котором Хаакон Смоллфлит собирался написать эссе. Не какая-то там фигура средней величины, коих чрезмерное количество занимало 365 дневных рубрик текущего года, вернее, если быть совершенно точным, 364 рубрики, ибо по какому-то недоразумению один день оставался свободным — день, когда не родился и не умер ни один писатель.

Но кто знает, думал Смоллфлит, — и тут он понял, что всерьез настроился на эссе, — кто знает, вдруг в эту самую минуту какой-нибудь парнишка или какая-нибудь девчонка, другими словами, какой-нибудь писучий молодой человек, родившийся семнадцать-восемнадцать лет назад именно в этот день — 26 сентября, сейчас поверяет бумаге неслыханные откровения и тем самым заявляет претензию на вакантное место

в единственном литературном календаре страны.

Писатель Хаакон Смоллфлит считал восхождение молодых талантов вполне допустимым, и такое его великодушие нисколько не умалялось от того, что он имел в виду прежде всего будущих драматургов. Сам он пьес не писал.

Однако из литературного календаря следовало, будто он вообще ничего не писал. Призадумавшись, можно бы еще понять, хотя тоже не без натяжки, что иллюстративно-текстовая часть календаря посвящается исключительно таким коллегам, как Вальтер фон дер Фогельвейде или Бальзак. Но и на эти страницы пролезли личности, о которых при самом добром отношении нельзя было сказать, за какие литературные заслуги этих кузенов Безымянных присоседили в календаре к братьям Гонкур или к сестрам Бронте.

Хаакон Смоллфлит, хоть ему это и претило, еще раз просмотрел список авторов, день за днем, страницу за страницей, фамилию за фамилией. Адальберта фон Шамиссо он нигде не нашел. Нашел ничтожнейшие величины, но великого Шамиссо не было. Так же как не было Ноймана — Смоллфлита. Первый из этих пробелов нельзя будет стерпеть так же безропотно, как он стерпел второй. Почти безропотно, ибо удержаться от одного-двух ехидных замечаньиц ему все же не удалось. Кто понимает намеки, тот, наверно, отметил во многих публичных выступлениях Смоллфлита кое-какие обороты, которые можно было понять, только соотнеся их со странными принципами отбора, принятыми у иных стряпальщиков календарей. Почти во всех случаях, когда оратор Смоллфлит с трибуны изумлялся тому, что у нас существуют печатные свидетельства элитарного мышления, или с горечью говорил о случаях поразительной односторонности, можно было не сомневаться, что он имеет в виду лиц, ответственных за литературный календарь.

Однажды он даже позвонил в издательство, чтобы сказать редакторам обеих антологий, где были опубликованы его рассказы, что, снова перелистывая эти сборники, он еще раз убедился, как добросовестно они составлены, и лишь в конце разговора, произнеся уже «будьте здоровы», тихим голосом добавил: «Такую добросовестность кое-кому следовало бы взять за образец, будь то директор издательства, составитель или, скажем, редактор календаря».

В другой раз он разговаривал с главным бухгалтером и, указав ему на ошибку в последнем расчете, спросил, неужто и в бухгалтерии воцарился ныне тот произвол, что давно господствует в других отделах издательства.

А как-то еще он связался по телефону с директором, чтобы

поблагодарить его за присылку очередного ежегодника. Правда, заметил он, книжка и на сей раз была вручена ему только в феврале, но он, как предписывает пословица, не намерен смотреть в зубы дареному коню, а уж считать у этого коня дырки во рту — если оставаться в рамках образа — тем более. К тому же он полагает, что и другие бдительные люди дырки эти заметили и не преминут сообщить о них директору. «Но не будем падать духом, этот календарь еще не последний», — сказал Хаакон Смоллфлит и этим замечанием несколько озадачил директора.

А еще раз автор Смоллфлит разговаривал с самим составителем календаря и разговаривал довольно-таки высокомерно. Не соблаговолит ли редакция, спросил он, обосновать наличие некоторых диспропорций в календаре. И нельзя ли узнать, какими критериями определяется выбор — Гинц или Кунц? И не странно ли, что некоторый перекос, можно сказать крен, свойственный этому календарю, сохраняется так же упорно, как и ежегодная задержка его выхода в свет?

Редактор сперва прибег к избитому приему и стал жаловаться на неудержимый развал полиграфии: печатное дело в стране понемногу приходит в упадок, бурьян бюрократизма глушит издательский план; машины в типографиях замшелые — что наборные, что переплетные, а на могиле последнего стоящего корректора вырос папоротник метровой высоты.

Когда редактор так говорил с автором, то большей частью находил у него живой отклик, ибо дело касалось их общего врага, и Хаакон Смоллфлит тоже неизменно удостаивался комплиментов директора, когда, выступая на каком-нибудь собрании, как бы нечаянно называл полиграфию «липографией".

Но календарных дел мастер союзником автору быть не мог, потому что отсутствие в календаре фамилии Смоллфлита нельзя было объяснить недостатком даровитых переплетчиков или квалифицированных линотиписток. Его можно было объяснить лишь недостаточной квалификацией издательского работника, который совал в календарь всех, кого сам он считал даровитым — в силу бог весть каких связей и руководствуясь явно утраченным, а быть может и просто неразвитым вкусом.

Редактор, человек вообще-то благодушный, намеков этих не стерпел. Он пожелал узнать, какое значительное, по мнению Смоллфлита, имя в ежегоднике отсутствует, а какое из там присутствующих, на взгляд коллеги Смоллфлита, до того незначительно, что его можно было бы выпустить.

В такие подробности Смоллфлит вдаваться не желал. На то ведь и берут редактора. Но Смоллфлит владел искусством как бы нечаянно произнести слова так, чтобы получились совсем другие:

вместо «на то и берут» у него вышло «за то и дерут». Это привело редактора, слывшего кротким, в дикую ярость, и он стал швырять обратно Смоллфлиту все его «ли».

Имеет *ли* коллега Смоллфлит какое-либо представление о том, сколько подозрений навлекает на себя человек, редактирующий литературный календарь. Знает *ли* он, что великому множеству дураков великое множество славных имен неизвестно, а потому кажется ненужным. Догадывается *ли* он, что некоторые люди берутся за перо только ради того, чтобы попасть в литературный календарь. Не рассказать *ли* ему о попытках подкупа и не почитать *ли* выдержки из писем с угрозами. Может *ли* господин Смоллфлит представить себе, что один из его собратьев по перу, тоже обойденный в календаре, перебил у редактора на участке стекла в парниках. Догадывается *ли* он, как чувствует себя человек, когда смазливая молодая поэтесса обещает ему пустить его куда угодно, если только он пустит ее в календарь. Укладывается *ли* в голове у Смоллфлита, что некоторые люди, по причине якобы допущенной несправедливости, написали жалобу в Государственный Совет. Или что люди, облеченные властью, при посещении ярмарки насмехались над календарем, да так, что и пресса не обошла эти насмешки молчанием. Или что в нездешней прессе имеются эксперты, которые не постесняются на основании ежегодника сделать выводы о том, как обстоит дело с культурой у нас в стране.

Когда он приступал к работе, сказал разъяренный редактор, он лелеял замысел с помощью календаря приблизить литературу к нашей прекрасной повседневности. Но куда там, ненависть и злобная зависть — вот к чему привели все его старания.

— Я же, в конце концов, не виноват, — орал он, — что это произведение печати из года в год должно выходить в одном и том же формате, и что на каждый день отводится одинаково мало места, и что расширить дневные рубрики нельзя даже в том случае, когда мощная лирическая волна прибивает к берегу целую дюжину поэтов равной величины или, как это произошло в тысяча восемьсот втором году, когда молния в один и тот же день убивает шестерых ранних романтиков! Я не отвечаю за то, что двадцать шестое сентября еще свободно, или за то, что семнадцатое декабря переполнено. Не могу же я быть в ответе за неравномерное развитие литературной жизни. Но все, по-видимому, считают, что могу. Как вы думаете, что происходит, когда одно имя приходится заменять другим? Поднимается такой крик, будто я убил писателя, чье имя выкинули. А я, между прочим, всего только изъял его из календаря и то не по своей

воле. Я регистратор, и если какой-то японский поэт вдруг привлек к себе внимание общественности, получив Нобелевскую премию, я, как регистратор, обязан принять это к сведению и довести до сведения читателей. Ну, а если в день его рождения свободного места уже нет? Тогда другой — такова уж неумолимая логика литературного процесса — должен уступить ему свое место. И тут я опять подвергаюсь смертельной опасности: когда я снимаю имя умершего, меня клеймят как осквернителя могил. Вычеркиваю кого-то вроде бы забытого, меня хватают за горло его фанатичные почитатели. Убираю драматурга, мне устраивают театр кошмаров и ужаса, вычеркиваю среднего прозаика — мне сулят кровавый роман. На кого я бы ни поднял руку, мстители тут как тут. И учтите, — продолжал редактор, — что, кода замена диктуется присуждением премии или избранием в Академию, это еще самый простой случай. Если бы, скажем, Гёте, Шекспир, Данте, Флобер и Толстой стояли под одним и тем же числом, шестым же стоял бы, скажем, Гермар Альтмейер, а день рождения недавно ставшего нобелевским лауреатом Квазимодо приходился бы на это же число, то, наверно, Альтмейеру пришлось бы подвинуться и наверно, Альтмейер принял бы это как должное. Однако еще не родился писатель, который безропотно освободил бы место только для того, чтобы его собрат, равный ему по значению, мог бы когда-нибудь занять это место. Я приведу вам не один такой Случай!

Но Хаакон Смоллфлит не желал слышать об этих случаях. Он хотел только дать понять редактору, что, наверно, и он имеет право значиться в альманахе, а историко-литературные подробности и степень профессионального риска, связанного с работой в издательстве, его не интересовали, да и вообще этот человек слишком много болтал. Болтать он и сам умел.

И вот, чтобы положить конец разговору, он почти деловым тоном заявил:

— Ну да, так оно все и получается. Но только, прочитав то или иное имя, иногда трудно бывает удержаться от вопроса.

Редактор, уже не на шутку рассерженный, не склонен был так быстро утихомириться.

— Например? — спросил он.

— Готтхельф Ойстербунд.

— Участник Шкойдицкой инициативы.

— Гельфрид Клейн.

— Участник Ясмундского почина.

— Карлгейнц Шпарцинз.

— Участник дней в Хеллерау.

— А в чем участвовала фрау Кизельгур?

— Контрвопрос: в чем не участвовала фрау Кизельгур?

— Но не хотите же вы сказать, что все эти люди красуются на страницах вашего календаря только потому, что причастны к какой-нибудь знаменитой инициативе?

— В известном смысле да, — отвечал редактор. — Конечно, все названные вами лица когда-то мто-то написали, только это было давно и эти вещи уже не в ходу. С этой точки зрения их имена могли бы уступить МесTq другим. Однако! Однако наша страна славится прежде всего своими традициями. Наша страна благодарна зачинателям ее обычаев. Наша страна — страна продолжателей этих обычаев, именно это и поняли перечисленные вами коллеги Ойстербунд, Клейн, Шпарцинз и Кизельгур, и если я вычеркну их имена из списка, ко мне и-j высоких инстанций полетят послания с вопросом, уж не хочу ли я лишить страну ее конструктивных элементов, от меня потребуют, чтобы я предъявил решения директивных органов, где бы что-то говорилось об отказе от известных начинаний. Следует ли полагать, станут спрашивать меня в этих письмах, что мы отказались от Шкойдицкой инициативы? Следует ли думать, что Ясмундский почин утратил свое значение? Следует ли считать, что мы вычеркнули Дни Хеллерау из памяти нашего народа? Ну, а поскольку всего этого полагать, думать, считать не следует, то названные вами авторы прочно стоят в моем календаре.

Хаакон Смоллфлит вовсе не имел привычки молча выслушивать столь волнующие сообщения, но подобное открытие — взаимосвязь между верностью страны своим обычаям и невозможностью вычеркнуть из календаря определенных лиц, давно утративших всякое значение, — буквально лишило его дара речи. Правда, это натолкнуло его на некую мысль. Теперь-то уж он знал, как ему добиться, чтобы его поместили в календарь. Надо, стало быть, не просто выражать общественное мнение, как думал он до сих пор, но и облекать свои взгляды в определенную общественно организованную форму.

Положение это звучало несколько отвлеченно, вроде тезиса Фейербаха, но это не страшно. Надо только найти удачную формулировку, что-нибудь такое же звонкое, как слова «Ясмундский почин».

И вот Хаакон Смоллфлит опять очутился в том состоянии, в каком пребывал, когда придумывал свой замечательный псевдоним. Замыслы у него были один другого прекраснее, в прекрасные свершения не претворялись. Он был так захвачен великим будущим, что не мог совладать с мелким настоящим. Стремился к чему-то, но дать имя своему стремлению никак не мог. Так он стал не то чтобы двигателем, но изобретателем

всевозможных движений. Движений, правда, только придуманных — от реальных они отличались тем, что никого никуда не двигали, да и сами не двигались. Нельзя сказать, что рука у него на такие дела была легкая, да и голова ничуть не лучше: что в ней рождалось, было параличным от рождения и вскоре отмирало.

Было бы, однако, несправедливо приписать неудачи Смоллфлита одному только Смоллфлиту, ибо время ему тогда не благоприятствовало. Вот хотя бы такой пример. Только было он попытался видоизменить лозунг «От я к мы», который, на его взгляд, слишком отдавал сухой грамматикой, и представить его общественности под более поэтическим названием «От соло к хору», как выяснилось, что искусство в стране процветает именно благодаря плеяде блестящих солистов. В экспортных списках и валютных балансах тенора, баритоны и сопрано стояли почти наравне с калием, так что предприимчивым импресарио поющих кинозвезд ничего не стоило заклеймить находку Смоллфлита как недостойную выходку и тем задушить в зародыше движение «От соло к хору».

Хаакон Смоллфлит познал на опыте, что в такой совершенной стране найти что-то новое не легко и уж совсем не легко поставить свою находку на службу обществу. Времена, когда, просто придумав что-либо, можно было обогатить мир чем-то доселе никому не известным — например, именем Хаакона Смоллфлита, — эти времена, видимо, миновали безвозвратно. Жизнь была укомплектована полностью, изобретатели ей не требовались. Открытие это было настолько ошеломляющим, что автор Смоллфлит на ближайшие десять лет всякое изобретательство, а также писательство — ведь одно каким-то образом связано с другим — оставил. Он выступал теперь только как чтец, чтец ранних произведений Ноймана и Смоллфлита, которые от частого употребления приобретали лишь больший лоск.

Ну и конечно же, как участник обсуждений, подписатель заявлений, поддержатель начинаний. Когда люди на планете призывали других людей обойтись без применения силы, без Смоллфлита не обходилось. Когда для предотвращения общей беды требовались срочные меры, Смоллфлит срочно и всеми мерами этому содействовал. Когда раздавались призывы к совести, Смоллфлит добросовестно их поддерживал. Его мысль, которой надо было бы сосредоточиться внутри, всецело устремилась вовне. Он достиг того, что если ему случалось отсутствовать на каком-нибудь митинге, или форуме, или при объявлении новой инициативы — по болезни или будучи в

отъезде, — то сыпались вопросы, где он.

Он стал заметной фигурой современного митингового дела, и в этом качестве ему время от времени удавалось вновь просочиться на газетные страницы. А вот просочиться в литературный календарь — никак.

Если бы он уже там значился, то нынешняя его деятельность могла бы закрепить за ним место, но для того, чтобы это место ему предоставить, ее было недостаточно.

Он почти уже смирился с тем, что принадлежит к числу писателей, которых признают, лишь когда их уже нет в живых. Это, однако, не означает, что он совершенно отказался от вроде бы небрежных замечаний насчет странной слепоты некоторых редакторов альманаха.

Только теперь тон этих замечаний был уже не таким желчным. Твердая надежда на посмертную славу смягчила его. Даже когда один из молодых поэтов после выступления Смоллфлита, где он говорил о творениях духа, обозвал его творцом духов, Смоллфлит ограничился снисходительной репликой, что сей новомодный юноша, должно быть, одно из тех мимолетных календарных светил, которые живут в сознании общества лишь до тех пор, пока об этом заботятся преданные им редакторы.

Вечером того дня, когда он так блеснул в риторическом искусстве, он сделал нечто такое, чего не позволял себе уже многие годы: взял литературный ежегодник, дабы проверить, не значится ли там уже этот молодой остряк. Конечно, он там значился, и Хаакон Смоллфлит был даже доволен; стало быть, и выдал этому выскочке то, что ему причиталось. Коль скоро он уже взял в руки это несовершенное произведение, то решил его еще раз перелистать и убедился, что в этом сомнительном издании все осталось по-прежнему: январь без единой записи, пустое 26 сентября, переполненное 17 декабря и абсолютный вакуум там, где следовало указать день рождения Хаакона Смоллфлита. Уж одно-то добавление здесь наверняка есть, подумал Смоллфлит и, спеша это проверить, открыл страницу, отведенную последней неделе января, — Адальберта фон Шамиссо они тем временем должны были в календарь вставить, ибо если ему не изменила память и он не разучился считать, то на пороге — двухсотлетие Шамиссо. Верно, верно, память ему не изменила: 30 января будущего года исполняется 200 лет со дня рождения Шамиссо. Он вспомнил об этом, потому что 30 января было не обычной датой. Это он выяснил, когда в свое время начинал писать эссе о Шамиссо и посетил публичную библиотеку; тогда, в связи с работой об авторе «Шлемиля», у него родилась еще одна мысль: в

изящных эссеистских пассажах выразить удивление, что на тесной площадке календарной даты могут умещаться самые разнообразные события. В данном случае — рождение прославленного романтика и рождение мерзкого урода — проклятого фашистского режима.

Хаакон Смоллфлит хорошо помнил, что тогда долго думал над тем, надо ли объяснять, какой проклятый режим пришел к власти 30 января; столь же четко запечатлелось в его памяти тогдашнее его намерение упомянуть в своем эссе, что имя Шамиссо отсутствует в единственном в стране литературном календаре. Указанием на этот пробел он хотел намекнуть, что в календаре немало и других пробелов.

Но Хаакон Смоллфлит решительно не мог вспомнить, по какой причине не стал тогда писать о певце старой прачки. Должно быть, это объясняется духовным подъемом в начале семидесятых годов и рождением соответствующих инициатив, от которых не мог уклониться человек, называющий себя Хааконом Смоллфлитом.

Окидывая взглядом недавнее прошлое и перелистывая календарь спереди назад, он дошел до последней недели января 1980 года, то есть до той части ежегодника, которую не использовал для заметок, поскольку получил книжку с опозданием, и тут у него, у человека, закаленного в духовных битвах и воле-изъявительных кампаниях, чуть было не отнялся язык: даже за год до своего двухсотлетия Адальберт фон Шамиссо в календаре не значился.

Это было почти невероятно и давало невероятную возможность: можно было еще раз высказать свое мнение редактору, не ставя себя под подозрение, что, говоря о Шамиссо, имеешь в виду Хаакона Смоллфлита.

Разговор с паршивым календаристом начался удачно. Настроенный, как всегда, предвзято, тот решил, что Смоллфлит опять пришел по делам Смоллфлита, и, завидев его, воскликнул:

— Догадываюсь, зачем вы пришли: последние десять лет вы вынашивали идею, что к вашему псевдониму надо присоединить еще и псевдодату. Почему, задавались вы вопросом, изменив данное мне при рождении имя, я не могу изменить и самое дату рождения? И я догадываюсь, под какой псевдодатой собирались вы жить в будущем. Не правда ли, вы углядели в моем календаре единственное вакантное место —26 сентября? Не правда ли, вы хотели меня убедить, чтобы я впредь против даты 26 сентября каждый год ставил имя Хаакона Смоллфлита?

Смоллфлит дал этому горе-деятелю высказаться и только потом небрежным тоном — так он во время публичных дебатов

мастерски уничтожал какого-либо незадачливого оратора — заметил:

— Я пришел просить вас единственно о том, чтобы вы напечатали в календаре имя некогда самого любимого поэта немецкого народа.

— Вы случайно не Хельмута Ноймана имеете в виду? — спросил редактор альманаха, ставший несколько циничным от долгой борьбы против авторов, одержимых календарным психозом.

— Я имею в виду, — мастерски небрежно ответил Смоллфлит, Адальберта фон Шамиссо, всемирно прославленного автора «Шлемиля», зачинателя оппозиционной лирики, пионера социальной поэзии, непревзойденный образец которой он дал нам в «Старой прачке». Я имел в виду писателя Шамиссо, чье двухсотлетие вы без моего напоминания проморгали бы точно так же, как проморгали все его предыдущие годовщины.

— За напоминание я должен вас отблагодарить, — сказал редактор, — и если случится, что вы умрете аккурат двадцать шестого сентября, то это число в моем календаре будет целиком и полностью ваше.

Подобная наглость издательского сотрудника заставила Хаакона Смоллфлита уйти, не прощаясь, и отныне он жил только двумя идеями, хотя была и третья, и она-то мучила его больше всего.

Где только мог, он выступал за празднование двухсотлетия Шамиссо и, как только представлялся случай, протестовал против дурацкого плана установить специальный день издательских работников, подобно давно существующим дням моряков, горняков, химиков и работников торговли.

Однако навязчивая идея, которая завладевала им снова и снова, когда он не сражался за Адальберта фон Шамиссо и не воевал против издательских работников, исходила из намека редактора, что стоит ему уйти из жизни 26 сентября, как за ним будет прочно закреплено пока еще вакантное место в календаре.

Хаакон Смоллфлит, о котором прежде шла молва, будто он слишком много энергии израсходовал на свой псевдоним, теперь весь ушел в решение вопроса, как бы устроить так, чтобы в известный день в начале будущей осени покинуть сей мир.

Эти три идеи отнимали у него столько сил, что, когда наступил означенный сентябрьский день, довольно было бы малейшего волнения, чтобы у него навсегда перестало биться сердце.

Но волнение, которое ему пришлось пережить, оказалось отнюдь не малым: утром 26 сентября, раскрыв газету, он узнал,

что этот день отныне объявляется днем издательских работников. Теперь он был избавлен от необходимости строить планы самоубийства: сердце у него и так разрывалось.

Он видел уже, как без всякого усилия с его стороны имя его сверкает на странице календаря, видел, хоть и гаснущим уже взором, наконец-то отвоеванную рубрику — «Хаакон Смоллфлит», а рядом с ней — всезаключающий крест, но потом, несмотря на мрак, застилавший его сознание, увидел еще одну заметку, которой отныне предстояло значиться под тем же числом: «Праздник издательских работников». И от того, что это немыслимое соседство никак нельзя было стерпеть, Хаакон Смоллфлит остался в этом мире — и в мире духовном тоже — еще на значительный срок.

Перевод Е. Шлапоберской

Праздничная лепта

Слишком долго я работаю в «Городской газете», чтобы мне часто удавалось увильнуть от дежурств на рождество.

В первые годы мне было не избежать дежурства, поскольку семейные коллеги ссылались на права своих семей, позже наступил период, когда человек просвещенный добровольно вызывался отработать смену в честь младенца Иисуса, а еще позже это уже был вопрос везенья или невезенья, но тут уж кому как повезет.

Можно было поменять рождество на официальный визит или на похороны высокопоставленного лица, но если желающих не находилось, легко можно было примириться со своей долей: праздничные полосы всегда давно готовы, а злободневные новости редко отличаются обычным накалом.

И все же мне не очень-то приходилось по вкусу, когда окружающие, собираясь к своим ненаглядным, начинали натягивать на себя пальто да еще изощряться в остроумии, исполненные радостных надежд и едва ли не с чистой совестью, и в каждом легко узнавался ребенок, каким он был в далекие времена.

Я терпеть не мог оставаться в пустом здании, и частенько меня так и подмывало хоть по телефону поболтать с друзьями, но им в это время только моих звонков не хватало, и тогда горькие мысли о загубленной жизни и о великих возможностях, которые я некогда упустил, полностью завладевали мной.

Быть может, чтобы отделаться от этих мыслей или из-за сомнительных наклонностей, я всякий раз поддавался сильному искушению использовать имеющиеся у нас технические приспособления для какой-нибудь пакости; кошка и прочие мыши покинули редакцию, вот тут-то я с радостью попляшу на столе — полагаю, что человека с такими наклонностями не следует оставлять без надзора, он в состоянии натворить бед в глобальном масштабе. До этого дело, правда, не дошло, но на один день — продолжительность жизни газеты — я раздвинул границы своей власти. А началось все в тихую святую ночь.

Я сидел в кабинете Первого Зама Главноуправителя (ПЗГ), о котором у меня есть свое особое мнение, и пытался найти ка его письменном столе документ, который бы меня ничуть не касался, но вот горе — он ко всему был еще и аккуратист.

По радио и телевизору передавали рождественские песни, и вначале я надеялся, что они по крайней мере хоть одну песню передадут одновременно. Я ждал, как ждут «падающую звезду», и

даже заготовил на этот случай парочку желаний, но лишь один-единственный раз обе передачи совпали, и то очень и очень бегло. Я выключил оба приемника; я обрубил последние нити, связывающие меня с миром… но тут по селектору заговорил Дежурный Управитель.

Хоть он и шепелявил, но я все-таки понял, что с полосы «Страна и люди» нужно снять заставку с домом Мюллендорпфа: один из сотрудников, наряжая елку, внезапно вспомнил, что этого дома давным-давно не существует. Он позвонил Дежурному Управителю (ДУ) и спас нас от жуткого скандала; я искренне позавидовал ему, совершившему в такой праздник доброе дело. Нашелся, стало быть, человек, который мог не слишком страшиться одиночества — состояния, когда ты особенно ясно осознаешь все свои упущения. Мне же оставалось снять с полосы одну заставку и найти другую, которая встала бы на освободившееся место, и еще дозволено мне было сочинить новую подпись, а все это ничем не отличалось от моих рабочих будней.

Разница была только в том, что сегодня в редакции отсутствовали самые наши мудрые головы, в качестве единственного представителя своей породы они оставили шепелявого ДУ, ворчливого экономиста, который, едва началась наша смена, объявил, чтобы его по возможности не беспокоили, у него, видит бог, работы по горло.

Я знал, какой работы у него по горло: ему нужно было — поскольку он был членом редколлегии — подписать сотню-другую поздравительных открыток, а все мы знали, что не такой уж он любитель писать.

Не будучи слишком предубежден против членов редколлегии, я тем не менее поторопился выполнить полученное задание прежде, чем наш Эконом сунется в неге со своими Цветами.

Выкинуть дом Мюллендорпфа было легче легкого, закрыть брешь другими иллюстрациями тоже труда не составляло. Я быстро отыскал среди запасных клише три пейзажа, удачно сочетавшихся друг с другом и ложившихся на полосу, но тут я внезапно ощутил всю необычность рождественской смены, и в голове у меня точно какой-то человечек застучал, выбивая иронические строки: три пейзажа вместо фасада — вот уж поистине выдающееся достижение, к тому же оно полностью отвечает на вопрос: хватит ли у некоего редактора отваги, одолев свои ахи и охи, совершить героическое деяние.

Я, стало быть, не взял пейзажей родного края, хотя у меня уже сложилась прекрасная подпись к ним; нет, ведь я сейчас почти что хозяин редакции, у меня есть права, у меня есть

реальные возможности, у меня есть страстная мечта свершить нечто необыкновенное, о чем утром, забираясь в постель, я подумаю: вот проснешься, а фото уже напечатано и по всей стране встречено с удовлетворением, и ты на славу кончаешь свой год.

И вот, твердо решив раскопать этакий перл, я отправился в отдел «Страна и люди», но с тем же успехом я мог воспользоваться триптихом из леса, поля и лугов — у них нашлись только парни, ныряющие в прорубь, душеледенящая улыбка продавщицы у аквариума с карпами, озабоченный лесник в редкой еловой рощице да всякие народные обычаи и диковины, а также Прекрасные Лики Человеческие в праздничном варианте.

Все это было мне без надобности, и архивную папку я перебрал только потому, что журналист в своей работе должен идти до упора.

Но вот тут я понял, за чем я весь вечер охотился, что буду я делать ночью и что получит от меня на следующее утро человечество. В руках я держал фотографию, фотографию девушки; подобной фотографии в жизни не бывало на страницах нашей газеты, и вообще девушку, такую современную во всех отношениях, читателям этой газеты вряд ли доводилось часто видеть.

Девушка на фото была обнаженной, однако выражение это не слишком удачно, оно подразумевает скорее состояние исключительное, а я в принципе отдаю должное нашей традиции — надевать на себя кое-какие одежды. При виде этой жизнерадостной невозмутимой красавицы я задумался над проблемой благопристойности и противоестественности, я созерцал девушку на фотографии, как редко созерцал какую-либо девушку, и при этом не казался себе ни дураком, ни нахалом — подобное эмоциональное состояние в присутствии раздетых дам я, во всяком случае, испытывал далеко не всегда.

О, я, конечно же, прекрасно знаю, какова разница между девушкой и клочком бумаги, на котором сфотографирована девушка, но от этого фото дух захватывало, потому что девушка была как живая благодаря полному отсутствию какой-либо позы.

Девушке на фотографии поистине незачем было подчеркивать свою особенность, она, видит бог, вся была особенная, но ведь нам известны изображения женщин, глядя на которые задаешься вопросом, производила ли на тебя хоть одна знакомая женщина подобное сногсшибательное впечатление, и с облегчением отвечаешь на него отрицательно.

Дабы заранее исключить недоразумения касательно жизнерадостности и физической культуры, я готов был, прикинув

на глазок, поручиться, что девушка может у кого хочешь вызвать учащенное сердцебиение, а также создать праздничное и радостное настроение, стало быть, фотография эта и подавно не годилась для публикации в нашей высокопринципиальной газете.

Я уже, кажется, век сидел, уставившись в черноту святой ночи, но ничего, кроме уголка мокрой серой крыши, не видел и злился при мысли о том, что примерно то же самое скорее всего увидит завтра человечество, продрав утром глаза, в которых сию секунду еще мелькали сны о серебряном дожде на елке и миндальных пирожных, о снеге, зайчике и жареном гусе, а какая возможность была бы у нашей газеты помочь своим читателям одолеть сей горестный миг и радостно встретить праздник, и как легко было бы это сделать, если бы ответственные лица нашей газеты попытались изменить свою натуру и позабыли свой уговор, который они некогда заключили, когда-то и где-то, во времена какого-то благочестивого начальника и по каким-то непостижимым причинам, уговор — в жизни не помещать оголенную женственность меж руководящих статей газеты и, стало быть, сохранять предельно ясный характер нашего органа.

И надо же, именно в час яслей и пастухов, предназначенный услаждать наши сердца и просветлять наши умы, я целиком и полностью был погружен в мерзкое ощущение собственной ничтожности. Как вдруг, к счастью моему и наших читателей, у меня в голове еще раз мелькнуло слово «ответственный», и я тотчас вспомнил, что в настоящую минуту именно я являюсь ответственным — ответственным за замену устаревшей фотографии более подходящей, а какое фото могло быть более подходящим, чем фото, которого все мы заждались.

В папке, где я нашел фотографию девушки, было еще десятка два фото и довольно мутный отчет о выставке, на которой их показывали — выставка, разумеется, называлась «Лики времени», — и меня за живое задело, что автор статьи не упомянул о моей красавице; я, разумеется, мысленно воздал ему по заслугам, но, глянув в отчет еще раз, заметил, что, видимо, его творческий принцип не позволял ему вдаваться в подробности.

В порыве прозорливости, каковая будто бы объявляется у человека, когда он решится на отчаянно-смелый шаг, я выбрал из папки в дополнение к прельстительной юной даме еще пять фотографий, вернее говоря, я не выбрал, я просто вытащил их и, мимолетно глянув, заметил, что среди других ликов нашего времени были портреты пожилой женщины-агронома, известного на всю страну охранителя зверей, почти столь же известного знатока барокко и пожарного — последний, казалось, мечтал о грандиознейших, но потушенных в конце концов пожарах.

Если у меня и были кое-какие сомнения, то, идя наверх, в цех цинкографии, по пустынным коридорам и гулким лестничным клеткам, я полностью освободился от них, ибо так пусто бывает, видимо, в заброшенных рудниках или на кораблях, которые считают погибшими, в местах, где царит бессмысленное расточительство и страх той пустоты, которая возникает, когда человек покидает свое рабочее место.

Понимаю, подобные мысли рождались под влиянием пафоса этого необычного ночного часа; где-то там, в большом мире, ожидало охваченное волнением человечество, а здесь, в редакции, я двинулся на Великое Дело — вот когда дают себя знать ужас и всякого рода преувеличения, одно скажу наверняка — в пустынных коридорах и у дверей, за которыми, знал я, стоят без дела сотни аппаратов связи с миром, в мозгу моем с новой силой вспыхнула мысль, что мне следует во весь голос заявить о себе этому миру.

Цинкограф же, которому я передал шесть фото с просьбой сотворить из каждого клише двух различных форматов, не заметил моего душевного состояния, он спросил только, не собираюсь ли я ради праздника издать иллюстрированный журнал. Подобный упрек с незначительными вариациями мы вечно слышали от цинкографов, но с этим приходилось мириться, если мы приносили им более двух печатных форм да еще желали получить клише до истечения двух недель.

Я, стало быть, постарался напустить туману; ведь мне не нужны были дважды шесть фото, по сути дела, мне нужно было одно, и оно нужно мне было вовсе не для меня лично; вся операция была задумана, чтобы послужить человечеству; приди я к цинкографу с одной фотографией разоблаченной дамы, у нас, чего доброго, завязался бы долгий разговор, а я хотел совершать дела.

Однако шепелявый Эконом позаботился, чтобы я не увильнул от разговора. Только успел я войти в свою комнату, как из селектора раздалось приглашение посетить Дежурного управителя.

Не так уж часто случается, что я, едва взглянув на руководящую особу, испытываю сострадание — но так, видимо, и надо, ибо чувство сие с трудом одолевает ступени социальных высот, — Дежурного Управителя я бы мог сейчас, утешая, погладить по головке, достаточно было глянуть на него.

— ТТ что-нибудь смыслишь в почерке? — задал он вопрос, который тут же перешел в сетования: он-де ничего в этом не смыслит, вот, не взгляну ли я.

Я увидел сотню-другую подписей, красивыми их назвать было

нельзя, однако их создатель указал мне, что хоть они и были некрасивы, но в самой различной степени: одни были просто некрасивы, другие — очень некрасивы. В ответ я попытался объяснить незадачливому автору, что не так это важно в новогодних открытках. Его, однако, волновал другой вопрос: как же в такое короткое время, на протяжении одной-единственной серии подписей, его почерк мог прийти в подобный упадок; ведь почерк будто является отражением личности.

Вполне может быть, ну и что?

Тогда приходится заключить, что почерк вторичен, первична же его личность, полный распад каковой и произошел в короткий отрезок времени.

Полный распад? Э, скорее, она была не по заслугам вознесена, но, что ни говори, она все еще существует со всеми своими отличительными чертами!

Ах нет, распад наступил, и подумать только — за какой-нибудь час!

Этот человек был Дежурным Управителем; у него было право вето; он мог помешать мне совершить праздничный Подвиг; он нужен был мне незапуганным и ко мне благосклонным.

Не трудно ли будет ему продемонстрировать, как совершал он процесс писания в течение этого часа?

В ответ он два-три раза царапнул свою фамилию на поздравительных открытках: да, это была явно тяжелая работа.

Неужели он так и поступал все это время? Доставал открытку из конверта, подписывал, закладывал ее обратно?

Да, именно так.

И ни разу не глянул на имя адресата?

Поначалу глядел, ответил он, но очень скоро понял, что все это совсем незнакомые люди, которым он от имени «Городской газеты» шлет наилучшие пожелания, напечатанные типографским способом.

Но, бог мой, в таком случае искажение подписи неудивительно — неужели ему, ученому экономисту, нужно говорить об отчуждении? Подобное бессмысленное действо должно было отразиться на всем существе его личности; ему необходимо круто изменить стиль работы. Я рекомендовал ему время от времени и лучше всего тогда, когда ему кажется, словно кто-то другой водит его пером и выводит его из заранее намеченной колеи, на минуточку отрываться от работы и размышлять, при этом он сумеет составить себе представление об адресате, на коего в ближайшие дни падет его поздравление, — иначе говоря, сказал я, ему следует включить расслабляющее воздействие фантазии против оцепенения, каковое почти

неизбежно наступает при безымянном общении.

Болтовня моя была не только полной чепухой, но и далеко не во всем способствовала делу, ради которого мне нужно было разморозить члена редколлегии; и вот уже мой редактор собрался с мыслями и глядит вслед запущенным мною в наш разговор словам — отчуждение и оцепенение, словно это два известных городских шалопая, сию минуту, грозно покачиваясь, прошедшие по пивному залу.

Я поспешил нарисовать ему симпатичные портреты далеких рабкоров и постоянных подписчиков, для которых не такая уж малость получить привет от редколлегии нашей газеты, и только когда он, по всей видимости, окончательно потерял из виду обоих бандитов, уверенный, что они покинули наш маленький мирный город, я между прочим добавил, что снесенный Мюллендорпфский дом я предполагаю заменить фотографией и короткой заметкой, рассказывающей о фотовыставке.

— Прекрасно, — сказал он, но я не успел выйти из двери, как услышал его пожелание увидеть переверстанную полосу и фотографию — на нее он тоже хотел взглянуть, пока я шел по жутко притихшему зданию, у меня не раз ёкало сердце при мысли о том, что зрелищем очаровательной красавицы до того, как я осчастливлю этим наших читателей, мне приходится делиться с коллегами, просто-напросто не-достаточно восприимчивыми для столь благой вести: травленый цинкограф, к примеру, принял это фото наравне с пятью прочими, да с таким видом, будто на нем изображены коксовые отвалы или кулек с дохлой рыбой, а Дежурный Управитель, Эконом и Шепелюн целиком и полностью израсходовал запас своих чувств на переживания, связанные с его распсиховавшейся подписью. Но усевшись к столу, дабы сочинить текст к фотографии, я изгнал из своих помыслов злобу и меланхолию, и коротенькая заметка, каковой собирался я сопроводить портрет девушки, засверкала свежими красками: вот что получается, подумал я, если человек вводит новшество, становится новатором на службе человечеству.

Наборщик, от которого попахивало вишневкой и который, видимо, полагал, что может притупить мое обоняние, польстив моему тщеславию, заверил меня, что моя литературная лепта создана в сжато-волнующем стиле, а глянув на мою иллюстративную лепту, объявил, что столь гладенькая коллега еще ни разу на работе не попадала ему в руки, и словам «на работе» он придал такую интонацию, что незамедлительно заработал право на здоровенную оплеуху; но переверстанной полосе требовалась виза Шепелюна, а потому я, воздержавшись от членовредительства, поспешил вторично к Дежурному

Управителю, на сей раз куда более спокойному.

Он сообщил мне кое-какие подробности, тем временем насочиненные им о получателях его писаний — соответствуй они действительности, так нам надобно очень и очень гордиться своими подписчиками и корреспондентами, — а подпись его, видимо отражая его душевное состояние, вновь обрела свою первоначальную простоту.

Моему новшеству он не пожелал уделить много внимания, бегло проглядев краткое сообщение и округлые формы фотоинформации, он опустил было авторучку на бумагу, собираясь изобразить свою подпись, но тут морщины, избороздившие от долгих и глубоких размышлений его лоб, пришли в движение.

Широкая подушечка пальца, покрасневшая от старание вывести подпись покрасивей и измазанная чернилами с левой стороны, легла на изображение прелестной человеческой плоти, легла, и поднялась, и еще раз, постукивая, опустилась, и продвинулась, постукивая, вверх к заголовку, стукнула по нему и по фотографии прелестной Прелестницы и поднялась высоко в воздух, замаячив, на мой вкус, слишком близко у моего носа.

Надо сказать, я давно уже лелеял мечту как-нибудь при случае откусить вот этакий именно палец, однако на сей раз ради новаторства в деле служения Человечеству я подавил в себе это звериное желание.

— Противоречие, — объявил обладатель пальца, и палец быстрым движением собрал воедино все то, что показалось его обладателю несовместимым, — мне растолковали, что заголовок обещает читателю «Лики времени», а на фотографии он, читатель, получает, во-первых, всего один лик, лик в единственном числе, и, во-вторых, создается впечатление, что вовсе не лик главенствует на этом фотодокументе, не так ли?

— Так-то так, — ответил я. — Но «лик» — это же понятие в широком смысле слова; мне приходилось видеть фотодокументы, на которых изображены были только плотины, или кабель-краны, или счетные машины, и тем не менее под ними или над ними можно было прочесть, что здесь мы имеем дело с ликами нашего времени.

Мы с Дежурным Управителем основательно проштудировали этот вопрос, и наши тезисы вполне можно было бы, считаю я и по сей день, прибить к дверям церкви; это был, что доказывало уже приведенное начало, диспут на высшем уровне, и вели его сотрудники «Городской газеты»: с одной стороны — руководящий Шепелюн, с другой — языкастый отменного вкуса Соловей[4].

Но Соловей ли, Шепелюн ли, а ответственность нес

Дежурный Управитель, он счел, что ка нашем уровне вопрос разрешен не может, и поскольку подобная ситуация была для него привычной, то он уже набрал номер Первого Зама Главноуправителя; я даже не успел напомнить ему об обычаях рождественских дней.

Но их, видимо, не признавали и в доме Первого Зама, он тотчас поднял трубку, тотчас ухватил суть проблемы и пригласил меня тотчас приехать к нему.

Первый Зам ждал внизу, у входной двери, и, не дав мне слова произнести в свое оправдание, объявил: мы-де служим общему делу, и он только просит меня говорить вполголоса, с женой его приключился прискорбный казус, и она уже в постели.

Путешествие в лифте на восемнадцатый этаж дало ему время описать мне сей прискорбный казус, и, должен сказать, это действительно был сногсшибательный случай.

Жену укусила в нос щука, а теперь муж допытывался, мог ли я когда-нибудь представить себе что-либо подобное.

Я и сейчас еще не могу представить себе ничего подобного, но наш Первый Заместитель Главноуправителя описал мне все досконально: жена его хотела купить карпа, но она опять забыла надеть очки, и вот она уставилась в резервуар со щуками и, низко наклонившись к воде, кончиками пальцев тронула спинку, казалось бы, дохлой рыбы, но рыба, вовсе не дохлая и вовсе не карп, подскочив высоко в воздух, отхватила кусок носа жены нашего Первого Зама Главноуправителя, и вследствие сего инцидента рождественский вечер полетел к чертям, ибо супруг не утерпел, чтобы не упрекнуть супругу в кокетстве, и не удержался от замечания, что нос, вообще-то говоря, был не слишком красив, а после того, как он вслух подумал, не страдала ли щука бешенством, тучи сгустились, и уж по-настоящему атмосфера накалилась из-за того, что жена без всякого сочувствия отнеслась к мужу, когда он развеселился, пытаясь узнать по телефону у друзей что-нибудь о болезнях рыб, причем ему неминуемо приходилось прежде описать друзьям весь ход событий.

В этом месте рассказа Первый Зам Главноуправителя умолк, затаил дыхание и попытался совладать с толчком лифта, но толчок совладал с ним и бросил его от одной стенки лифта, другой, так что я едва-едва увернулся от него, а когда он, прижавшись лбом к обшивке лифта, забарабанил кулаками по дереву, я счел, что он сотрясается от софоклова ужаса, Но по его хихиканью понял, что он вновь смакует потеху, достойную Аристофана.

Однако в какой-то миг рождественской ночи он все же осознал, что под настилом кабины, по которому он прыгает,

точно сказочный гном, проходит шахта лифта глубиной в восемнадцать этажей плюс трехэтажный подвал, и обо мне он вспомнил, и вспомнил причину моего появления, и, войдя в квартиру, вновь обратился в Первого Зама Главноуправителя центральной «Городской газеты», какого мы все ценим и любим.

Итак, имел я счастье услышать, возник конфликт между моей позицией, суть которой выражена в представленной работе, и позицией Дежурного Управителя, суть которой тот изложил по телефону, а так как дело наше не терпит отлагательств, необходимо найти решение, не наносящее обиды ни одной из сторон.

Далее я узнал, что новая журналистика должна отличаться от старой также большей согласованностью между заголовком статьи и содержанием той же статьи; если рассматривать отобранное мною фото как неотъемлемую составную часть мною же написанной статьи — вследствие чего раздетую девицу считать характерной для содержания статьи, — то станет ясно, что содержание и заголовок относятся друг к другу как величины несовместимые.

Да, если бы заголовок заметки был не «Лики нашего времени», а скажем, «Тела нашего времени», тогда между возвещением и осуществлением имелся бы отраднейший контакт: тело в заголовке и тело на фотографии; но уж наверняка нельзя преподносить нашим читателям неприкрытый бюст, если им сию секунду обещали лики — лики нашего времени.

Втолковывая мне все куда пространнее, чем я это сейчас пересказываю, он стоял рядом с любовно наряженной елкой и пощелкивал — в целях, полагаю, обозначения границ риторических периодов — пальцем по серебристому шарику, но, когда ему пришлось взять в руки веник и совок, наш Первый Зам Главноуправителя вновь обратился в здравомыслящего человека.

— Стало быть, переделать! — заявил он и дополнил директиву разъяснением — Заголовок менять нельзя, ибо он идентичен названию выставки, о которой сообщает газета. Следовательно, изменить можно фото или сообщение. Но сообщение дано в общем виде и не делает акцента на частностях, посему изменения в статье вряд ли нас выручат. Следовательно, изменить придется фото, — решил он, — а это значит, что его следует заменить другим.

Ах, почему я не щука, чтобы вцепиться ему в нос: фото на фото! Это уже пройденный этап — фасад Мюллендорпфа на женский фронтальный вид; и что за оценка моей статьи: в общем виде и без акцента на частности? Разве представитель рабочего класса не высказался еще час-другой назад совершенно иначе об

упомянутой заметке, разве он, этот замечательный наборщик, не уловил сжато-волнующий стиль моей статьи? А мне самому разве не бросилась в глаза свежесть сего плода моего вдохновения?

Оценки сии меня очень и очень подбодрили, и я предложил своему начальнику вариант его приказа: если он действительно приметил известную растянутость в словесной части, то необходимо по мере сил посчитаться с этим и в иллюстративной части — можно, к примеру, чуть расширить базу фотодокументов, на которой основывается разносторонность подачи материала в статье, и вместо одной фотографии представить три, клише в соответствующем формате уже имеются.

Вот это была работа во вкусе нашего Первого Зама Главноуправителя: обсудить возникшую проблему и подыскать варианты, исчерпав все и всяческие возможности и связав эти варианты оперативно принятым решением; поскольку последнее означает, что необходимо сконцентрироваться на одном вопросе, пока он не будет улажен, ПЗГ незамедлительно принялся за дело, пытаясь скомпоновать заставку теперь уже из трех частей. Он орудовал с шестью фотографиями, как прожженный картежник, находил все лучшие и лучшие троицы, в части из которых отсутствовала моя приятельница, иной раз передергивал, с поразительной сноровкой мухлевал и даже пытался, не слишком навязчиво, ускорить мой выбор.

Но он, по всей видимости, заметил, что на группы без фотографии, предназначенной послужить человечеству, я не обращал никакого внимания, и в конце концов сам стал оценивать только те, в которых представлена была моя красавица.

С того благочестивого вечера мне известно много-много точек зрения на то, как группировать фотографии или разделять их: три женских портрета давать не годится — не следовать же нам за каждой модой и связываться, к примеру, с этим однобоким феминизмом. Пожилая крестьянка не может стоять спиной к обнаженной юной деве — крестьянки принимают природу целомудренно. Яростная ораторша вполне годится в пару к раздетой красавице; возможно, делегатка как раз высказывается о папе Римском, а если подставить третьим звериного шефа, то станет ясно, по какому адресу следует отправить взгляды папы. Обветренного рыбака не следует помещать рядом с обнаженной девушкой, это сразу наводит на мысль о русалках, а место русалок на странице юмора, да и то в случае крайней необходимости; русалки, собственно говоря, отжили. Пожарник в союзе с молодой дамой уж вовсе не пойдет, посмотреть только, как он держит свой шланг. Наилучший вариант — поместить девицу между знатоком барокко — барокко ведь не чуждо

чувственных наслаждений — и директором зоопарка; вот это, пожалуй, не лишено изящества; отлично, так и сделаем.

Значит, так и сделаем, и на обратном пути в редакцию я был вполне доволен собой. Правда, моя красотка несколько по-уменьшила свой формат и появится в сопровождении двух яйцеголовых старикашек, но она появится, и одно это — Первый Подвиг и Служба Человечеству; мысленно я уже видел пробный оттиск и, насвистывая лихой мотивчик, шагал сквозь рождественскую ночь, все-таки проявившую ко мне благосклонность.

Но у входа, в своем стеклянном закутке, стоял наш вахтер и, но, перекрывая мне дорогу, протягивал из окошечка телефонную трубку. Я испугался, что, пока я шел, Первый Зам Главно-управителя смекнул, из каких моральных соображений непозволителен тройственный союз директора зоопарка, красавицы и искусствоведа, и я готов был выказать строптивость, но оказалось, что это вовсе не Зам, а Настоящий, Подлинный Главно-управитель собственной персоной.

— Говорят, вы там создаете новую газету?

— Всего-навсего новую заставку и сорок строк текста.

— Ну, я же говорю: новую газету. И название тоже очень и очень новое: «Лик нашего времени»!

— Лики!

— Ага, их, значит, несколько штук! Ну, тогда, конечно же, необходимо изготовить сорок строк! И кто же они — эти лики нашего времени? Я слышал о женщине и двух ученых.

— Ну да, молодая женщина, она загорает, и зоолог, тот, что ведет на телевидении передачу «В мире животных», и еще профессор-искусствовед из Академии культуры.

На площадке перед проходной и без того сквозило и было довольно холодно, но, когда после ужасающей паузы Главно-управитель заговорил, мне показалось, что от его тона мое ухо примерзло к трубке:

— И это лики нашего времени, чтокак? Скотопереписчик и знаток карточных мастей, каковым вместе лет сто девяносто, они что — лики нашего времени, чтокак? Этот быковод как в девятьсот одиннадцатом раскопал где-то в Африке аномального конебычка, так и трубит о том по всем средствам массовой информации — с тех пор как таковые появились — что-как-почему? И это лик нашего времени! А знаток мастей, да он уже дважды на собрании Академии выступал против нашего отдела культуры — что надо этому лику из карточной колоды в нашей газете, а? Выкинуть и того и другого, ясно?

Я неплохо понимаю намеки, и потому обещал шефу снять

фото старичков ученых с полосы и спросил его мнение касательно возникшей бреши:

— Увеличить ли количество строк в заметке или дать нашу молодую даму большим форматом?

— Кто из нас сменный редактор, ты или я? — спросил он, и так как сменным был я, он не пожелал вмешиваться; одно он только высказал: сорок строк для фотовыставки предостаточно, и если уж мы вынуждены из ста фотографий выбирать одну, так все — тем более что выставка называется «Лики нашего времени», — все говорит за то, чтобы остановить свой выбор на фотографии молодой женщины.

— Молодая женщина всегда хорошо смотрится, нетакличто-как? — изрек Главный и пожелал мне хорошо провести праздники.

Итак, я последний раз перекрутил сверстанную полосу, записал отчет о смене в книгу, дождался пробного оттиска и тем больше радовался возгласам одобрения наборщиков и упаковщиков, что не уверен был, услышу ли в будущем еще хоть один такой возглас.

Вот теперь я отправился домой и, шагая пустым коридором мимо всеми покинутых комнат, не чувствовал себя, однако, отрезанным от мировых событий, потому, быть может, что сквозь все стены до меня доносился гул ротационок, доказывая, как весело работают механизмы, помогающие совершать Первый Подвиг и Служить Человечеству.

На славу поработав, как-то совсем иначе шагаешь по земле, несущей отныне на себе твой след, — я хочу сказать, мне показалось, будто я необычайно быстро добрался до остановки, а в трамвае мне раза два-три привиделось, что неподалеку от рельсов стоит тот самый человек, ироническое словцо которого, брошенное в мой адрес, не сказать чтобы не повлияло на мои действия, и только из-за спутников я подавил желание помахать ему рукой.

Но водителю, который провел первый издательский грузовик мимо моего трамвая, я помахал; знал ли он, сколь восхитительный груз вез этим утром?

Он знал; это заметно было по его манере держать рулевое колесо; да и как было ему о том не знать, ведь, когда я уходил, а он явился на работу, все кругом едва ли о чем другом говорили.

И позже еще частенько говорили об обнаженной девушке в рождественском номере «Городской газеты» и, надо сказать, говорят по сей день о прекраснейшем среди всех прекрасных ликов нашего времени — хотя, понятно, давно забыт тот взрыв, который вызван был моим новшеством.

Радио Тираны и «Нью-Йорк таймс» в примечательно совпадающих комментариях пришли к выводу — рождественское фото в нашей газете следует понимать как признак ослабления напряженности; правда, «Нью-Йорк таймс» приветствовала это обстоятельство, Тиране же оно, видимо, пришлось не по вкусу.

В ответ на это наш шепелявый Эконом произнес на общем собрании речь, полную обвинений и самообвинений, и заявил, что во время рождественской смены я с какой-то странной напористостью говорил об отчуждении и оцепенении, а он, вместо того чтобы тут же, на месте, до всего дознаться, позволил, к сожалению, некоему письменному феномену сбить себя с пути истинного.

Ныне наш Шепелюн сидит в Управлении государственной лотереи, и, по слухам, работа ему по душе, ибо самые существенные решения там все еще получают из барабана.

Первый Заместитель Главноуправителя ныне также обретается где-то в другом месте, что обусловлено как служебными, так и семейными обстоятельствами. Жена его, будучи покалеченной, расценила изображение совершенной особы женского пола как желание ее уязвить, а Главноуправитель очень и очень обиделся на него за попытку протащить в наш орган карточного профессора; и в том и в другом случае наилучший выход был — расстаться.

В ту пору возникли также некоторые осложнения совсем иного рода; так, магистрату нашего города пришлось вновь рассмотреть вопрос о стриптизе — на сей раз Союз работников ресторанов попытался, со ссылкой, разумеется, на главную газету, получить лицензию на спорный вид услуг, именуемых «веселые раздеванки».

Или, к примеру, ОРЖ, Объединение Работающих Женщин, оно, всеконечно, вновь раздуло вопрос о равноправии мужского обнаженного тела, и я не знаю уж, что отравило нашему Главноуправителю жизнь больше: четырехчасовое заседание из правления ОРЖ, где ему без конца тыкали в нос рождественским номером газеты, или мерзкие письма ненапечатанных авторов, из которых кое-кто не постеснялся приложить к письму вырезанную, а то даже вырванную фотографию той самой девушки, намарав поперек: вот, для этого у вас место есть, а для моего эссе от июля такого-то года…

Так ли, иначе ли, но наш шеф тоже покинул «Городскую газету», перешел на телевидение, стало быть, в какой-то мере и правда перешел на новые позиции, но принадлежит там к добровольному меньшинству. На телевидении ему доверили важнейшее дело — обрабатывать шведские и датские фильмы так,

чтобы они влезали в рамки нашего, чуточку иного понимания, искусства; говорят, он отлично справляется со своей задачей.

Ах да, во время одной из конференций редакторов центральных газет, наших милых сестриц, делегат некоего братского органа будто бы задал представителю нашей газеты два-три дружеских вопроса, в которых сквозила серьезная озабоченность, — большего, правда, мы не узнали, они договорились эту часть протокола объявить секретным документом.

Я никогда не пытался выискивать дальнейшие подробности; доказательств, что в ту рождественскую ночь мне удалось хоть что-то сказать о себе миру, у меня и без того предостаточно.

И потому, узнав как-то невзначай и скорее по чистому случаю, что мое диво-фото, иначе говоря, образ моей дивной красотки, Дивный Новый Образ на Службе Человечеству, вовсе не был выставлен по причине слишком резкого противоречия между девизом выставки — «Лики нашего времени» — и представленным на смотр предметом, о котором я писал в столь сжато-волнующем стиле, я не слишком огорчился.

В «Городской газете» он напечатан был и доставил всему местному населению удовольствие, и новшеством это было, и жестом с моей стороны, а моя тяга к безрассудному использованию свободного доступа к полиграфической технике с той поры как-то сошла на нет.

Хотя иной раз, когда приближаются праздники и близится конец рабочего дня, я, сидя у себя в Отделе рекламы, в котором, кстати сказать, уже несколько лет работаю, подумываю о таком анонсе, какого еще в нашей газете в жизни не печатали, и, когда я вижу, как Руководящий Руководитель отдела рекламы, и Первый Заместитель Руководителя отдела рекламы, и Руководитель сектора «Купля-продажа зверей и автомашин», а также Руководитель сектора «Разное» собирают свои портфели, в моем мозгу постепенно и неуклонно начинает складываться некий ошеломляющий текст.

Перевод И. Каринцевой

Золото

Когда отец нашел золото, все мы очень обрадовались. Он так редко находил золото. Вернее сказать, до тех пор не находил ни разу. Но без устали шел на поиски, ведь ему была свойственна та самая неистовая убежденность, какою церковь наделяет святых. Только вот его вера была обращена к земному.

Читая о каком-нибудь великом муже, что в делах своих он, мол, ни днем ни ночью не ведал покоя, я всякий раз невольно думаю: ну и что? Если человек велик оттого лишь, что ни свет ни заря уже трудится в поте лица и поздней ночью при свете луны еще плюет на ладони, то мой отец был велик.

Чем глубже я вникаю в историю героев, тем яснее вижу: моему отцу только среди них и место. Наткнусь, к примеру, на такую фразу: «Ему не пели колыбельных…» или: «Удача досталась ему не даром» и спрашиваю себя: коли в этом величие, то как же быть с отцом? Пел кто-нибудь у его колыбели про золотой самородок, или, может, золото ему с неба свалилось, даром?

Надеюсь, уже сам по себе тон, каким я об этом спрашиваю, снимает вопрос.

Тем же, кому недостает остроты слуха, скажу на ушко, четко и раздельно: ком золота, в конце концов найденный отцом, достался ему единственно ценой огромного труда.

То было воздаяние за многодневные изнурительные бдения, находка, заслуженная горьким потом, итог мучительно долгих поисков — словом, что угодно, но уж никак не дар небес, не подарок, а воздаяние.

Вот почему все мы очень обрадовались, когда отец нашел золото.

Ничто так не гнетет, как раздумья о Сизифе; ничто так не воодушевляет, как история Колумба или, скажем поосторожнее, тот небольшой эпизод в истории Колумба, когда слипающиеся от соленого ветра глаза морепроходца узрели Индию. Кого нынче волнует — чуть не сказал: кто нынче помнит, — что Колумбова Индия была вовсе не Индией; кто, кроме двух-трех драматургов, которые вновь и вновь алчут разоблачений[5], вздумает нынче возвращаться к этому?

Колумб нашел Индию, а мой отец — золото.

Перечитывая написанное, я примечаю в нем зародыш легенды: может возникнуть впечатление, будто мой отец с самого начала своих поисков и вплоть до счастливого их завершения (счастливого в том смысле, что всяк сам кует свое счастье) жил исключительно надеждой.

Существует слишком много преданий такого рода, и я не настолько пошло тщеславен, чтобы добавлять к ним еще одно.

Потому-то и говорю: надежда способна подгонять, пришпоривать, понукать наконец, но вот накормить не накормит. Кормили отца и всех нас его нерегулярные находки: свинец, цинк, медь да латунь — и его твердый заработок поденщика…

Ежели у кого от моих последних слов поползли вверх брови, то пусть и не думает смущаться, ведь это знаменующее скепсис мускульное движение лишь подтверждает, что он не какой-нибудь раболепный буквоед, а образцовый, то есть проницательный и требовательный читатель.

С таким-то человеком и нужно считаться, рассказывая историю, более того, ему одному ее и рассказывают. И коли тебя не оставляет ощущение, что история, которую ты намерен поведать, ни единого разу не заставит его вскинуть брови, лучше брось эту затею и поищи себе если не другое занятие, то по крайней мере другую историю. Правда, пишущий должен остерегаться, чтобы столь искусно пробужденный в читателе скепсис не обернулся досадой, эта опасность таится между строк не в последнюю очередь именно тогда, когда рассказчик, увлекшись, впадает в созерцательность и самоанализ и, к примеру, вместо того чтоб без промедления сообщить, как его отец нашел золото и что было потом, для вящей назидательности топчется на месте.

Поэтому скажем кратко: я склоняюсь к весьма и весьма широко распространенному мнению, что написанное или представленное на сцене ради увеселения просто обязано заставить людей споткнуться, обязано заставить их поверить, что они ослышались или что глаза их обманывают. Литература — и в данном случае я вполне сознаю собственную нескромность в выборе слов, — литература на первый взгляд должна выглядеть как опечатка.

Взять хотя бы слова «заработок поденщика» в той законченной многоточием фразе, за которой поднялся указующий перст теоретика, — разве эти слова не выглядят опечаткой? Разве в истории золотоискателя можно было ожидать упоминания о столь банальных и скучных материях, как «заработок поденщика»? Полноте, да прилично ли такое?

Когда речь заходит о золотоискателях, в воображении тотчас возникает этакий старатель, пребывающий в неведении, сумеет ли он найти свое Эльдорадо, но кому нужен человек, который уверенно и прочно, так сказать обеими ногами, стоит в платежной ведомости? Кому нужен Колумб с конвертом для получки? По-моему, никому.

Зато я ничуть не сомневаюсь, что поголовно у всех читателей брови резко взлетят вверх, едва они увидят следующую фразу: золотоискатель, мол, пополнял свои обеспеченные твердым заработком доходы, выручая некоторые суммы за такие случайные находки, как свинец, цинк, медь и латунь. В конце концов, каждый из нас еще в школе учил, что латунь — вещество ненатуральное, сплав и в природе не встречается. И пусть мы безропотно молчим, когда нам рассказывают, что-де некто обнаружил в шурфе выход фимиамплюсквамфосфата, — молчим, хотя заведомо знаем, что никакого фимиамплюсквамфосфата не бывает; молчим, ибо как-никак ратуем за свободу творчества, но, когда дело доходит до латуни, забавам и шуткам конец. Золотоискатели могут наткнуться на свинец, и медь, и разные другие ископаемые, только не на латунь. Покуда возмущенный читатель не перехватил у меня целиком и полностью бразды правления, постараюсь вернуть их себе. Ведь в конце-то концов это я начал рассказывать, а не он. Стало быть, мне и карты в руки. Вот я и говорю: вскидывая брови, он был совершенно прав, теперь же чувство справедливости мало-помалу ему изменяет. Откуда он знает, где именно отец наряду со свинцом, цинком, медью — и золотом, разумеется, — находил латунь? Разве я говорил, что отец скитался по мексиканским пустыням или сибирским горам? Отнюдь. В эти края читатель забрел сам, едва речь зашла о поисках золота. Фантазия увлекла его за собою.

А в нашей истории ничего фантастического нет; тут говорится лишь о том, что Мой отец нашел золото и что все мы очень этому обрадовались, потому как золото не чета обычному свинцу, цинку, меди да латуни.

Не то чтобы я жаждал внести полную ясность, но мне хочется по крайней мере упомянуть, что в ходе своих поисков отец, бывало, извлекал на свет божий и неметаллические ценности, а именно разного рода древесину, а то и пустые бутылки.

Надеюсь, теперь предостережений достаточно и никто не вздумает выражать сомнения насчет бутылок. А ежели какой неисправимый упрямец все же рискнет это сделать, у меня есть чем возразить: где латунь, там и порожние бутылки. С тем же успехом я мог бы сказать: где латунь, там и дохлые канарейки, и прожженные галстуки, и новенькие натюрморты, и годовые подшивки «Церковного вестника», и стеклянные глаза с облупленными зрачками, и эмалированные таблички с надписями «Осторожно, злая собака!» или «Здесь прокалывают уши!», и водопроводные краны без вентилей. Но эти последние, как правило, сделаны из латуни, и потому мой главный аргумент примет следующий вид: где латунь, там и латунь — а раз так,

краны мы вычеркнем. Осталось добавить к нашему перечню только золото, то самое золото, которое отец нашел там же, где была латунь и все прочее, и которому все мы очень обрадовались.

Тот, на кого я уповал, начиная эту историю — а именно смышленый читатель, — небось давно сообразил, где мой отец нашел золото, и, пожалуй, обидится, коли я без всякой необходимости стану уточнять. Пусть, однако, примет во внимание, что все это читает не он один, читают и такие, кому каждый раз надо прямо говорить то, что хочешь сказать. Им-то я и говорю (остальные могут передохнуть до следующего абзаца): мой отец… или нет, так в самом деле нельзя; я снова опускаю ногу, которая совсем было приготовилась шагнуть в край плоских, заезженных фраз; решено: останусь с ценителями и не убоюсь гнева тех, в чьей жизни отныне появится еще одна загадка. А в утешение им можно сказать только, что самое большое в мире удовольствие заключено в загадках этого мира. Что бы из нас вышло, не будь мы вынуждены разгадывать загадки? Вот почему я намерен привести здесь старую-престарую истину: жить — значит щелкать орехи загадок. Или еще точнее: человек — щелкунчик!

Мне, разумеется, хорошо известно, что большинство читателей жаждут быстрого развития событий, этакой повести — пробежки по горам и долам бытия, известно и то, какую неприязнь они испытывают к авторам, которые хватают их за рукав и начинают таскать взад-вперед по одному и тому же унылому коридору мысли, и все-таки я позволю себе еще несколько строк во время короткой передышки: удерживаться от пространных разглагольствований велит нам не только оглядка на других, но и оглядка на самих себя. Мы скучать не любим.

Вернемся, однако, в неторопливый поезд воспоминаний.

Итак, к вящей нашей радости, отец нашел золото, но, хотя и сам он и мы, в сущности, должны были бы ожидать этого со дня на день, находка застала нас чуть ли не врасплох.

Золото являло собою качественно новый трофей. Со всеми другими находками отец разделывался в два счета, на сей же раз возникли сложности. А ведь ему и впрямь случалось уже решать проблемы, которые по плечу далеко не каждому. Взять хотя бы истории с музыкантским бунчуком и поющим деревом.

Отец нашел музыкантский бунчук. Один-единственный, конечно. Я располагаю довольно-таки скудными данными, но все же склонен утверждать, что находка двух бунчуков сразу — большая редкость. Отец, во всяком случае, нашел один.

Чтобы обрисовать проблему, достаточно спросить: на что годится бунчук?

Отец решил это в мгновение ока. Он воткнул сей типично военный — ибо столь же роскошный, сколь и бесхитростный — инструмент в грядку с горохом и получил таким образом пугало весьма диковинное, но как нельзя более действенное. Именно в диковинности и заключался весь фокус. Дело в том, что едва крикливо раскрашенные конские хвосты воинственного инструмента зашевелились на ветру, как под ними незамедлительно собралась сгорающая от любопытства птичья стая.

Языкастый читатель возразит, что пугало-де предназначено вовсе не для этого, но его нетрудно угомонить: птицы устремили свои горящие надеждой взоры кверху, а потому им в голову не пришло заняться горошинами у себя под ногами, вдобавок история наша пока не окончена.

Так вот, когда чуть ли не все крылатые обитатели нашей округи, щебеча, сгрудились под конскими хвостами, отец вооружился рогаткой, взял горсть камешков и принялся стрелять… нет, не по сотне воробьев, разумеется, а по язычку металлофона, укрепленного на бунчуке, — причем с особым удовольствием метил в язычок, который, по его словам, звучал в до-диез миноре.

И можете мне поверить: те самые птицы, которым еще минуту назад было в высшей степени безразлично, что хвостам кое-чего недостает до живых лошадей — примерно так театральные зрители, привыкшие к современным декорациям, готовы принять нарисованный мелом маятник за настоящие напольные часы, — те же самые птицы, едва заслышав так называемый до-диез-минорный звук, прямо окаменели, как видно, задумались, пытаясь установить связь между конскими хвостами и так называемым до-диез-минорным звуком, потом решили, что это невозможно, и разлетелись кто куда.

Тогда-то и родился творческий лозунг, который я пронес через все свои произведения: конские хвосты и так называемые до-диез-минорные звуки, образно говоря, вещи несовместимые.

В другой раз отец нашел дырявую рыбачью сеть. Конечно, он мог бы зачинить ее и продать. Но на это ушло бы очень много времени, а время было ему нужно для поисков золота. Отец спрятал сеть в один из ящиков, где хранились всякие вещицы, покуда не нашедшие применения, и достал ее вновь, только когда случайно отыскал набор церковных колокольчиков.

На первый взгляд, церковные колокольчики выглядели у нас столь же неуместными, как и рыбачья сеть, и, отдельно взятые, действительно являлись таковыми. Их было двенадцать, двенадцать фарфоровых моделей недавно задействованного

большого колокола; по нижнему краю у них бежала выпуклая надпись: «Услышьте глас мой и пробудитесь!»

Отец проверил звучание каждого колокольчика и двенадцать раз перечитал текст «Услышьте глас мой и пробудитесь!», к чему моя мать отнеслась бы спокойнее, не случись это за ужином. Отец достал из ящика рыбачью сеть, приладил к ней всю дюжину фарфоровых бубенцов, прислонил две лестницы к нашей большой яблоне сорта «боскоп», которая росла прямо возле дороги, являя собою зародыш столь популярной ныне идеи самообслуживания, и набросил поющую сеть на пышные ветки. Под вечер он взял палку для гольфа, тоже найденную случайно, вынес ее на веранду и поставил рядом с креслом — собственно говоря, это было отслужившее свой срок парикмахерское кресло, бог весть каким образом доставшееся отцу.

Описывая дальнейшие события той ночи, я хотел бы воспользоваться цитатой, то есть литературным приемом, который — как я на днях узнал из одной солидной лекции — становится тем правомернее, чем яснее мы видим, что весь окружающий нас мир уже облечен в слова.

(«Как это верно!» — крикнул я лектору в этом месте и теперь вновь повторяю: «Как это верно!», ибо если порядок вещей на нашей Земле чем-то и бросается в глаза, так это своей незыблемостью. Полеты на Луну, карибские инциденты и прочие капризы истории — это мелочи; когда речь идет об эстетических принципах, их можно спокойно опустить.)

В нашем конкретном случае все, что я хочу рассказать, уже сказано Людвигом ван Бетховеном и одним современным ему критиком по поводу Симфонии № 6 фа мажор, опус 68 —«Пасторальной».

Само собой, тут не обойтись без пояснительных реплик с моей стороны, ибо надо полагать, что как Бетховен, так и критик, сочиняя и, соответственно, интерпретируя «Пасторальную», скорей всего имели в виду события, в деталях несколько отличные от тех, что разыгрались под нашей поющей яблоней. Итак, начнем.

Отец установил вертикально спинку парикмахерского кресла, поправил подголовник, чтобы сидеть было удобно, и устремил свой взор в вечерний сад Все было спокойно. «Никакие препоны и конфликты не омрачают наслаждения природой» (критик, в дальнейшем коротко именуемый «кр.»). Отец, однако, думал вовсе не о наслаждении природой и покуда оставался невозмутимо-бесстрастен. Но вот когда он услыхал на дороге осторожные шаги, стало возможно говорить о «пробуждении радостных чувств на лоне природы» (Бетховен, в дальнейшем из

почтения так и именуемый Бетховеном). Выражаясь словами кр., мой отец услыхал «мягкую до-мажорную мелодию отрывистых нисходящих аккордов», а «в басах — четкий второй голос» и заключил отсюда, что к нашей обители приближается парочка — парочка, которую по соображениям практической краткости, а также ради намека на цитату мне хотелось бы впредь именовать Адамом и Евой.

Адам и Ева остановились напротив яблони и предались взаимным ласкам, правда совершенно в рамках приличия, — «в развитии темы нет драматических всплесков, скорее, здесь волной наплывают мечтательно-радостные чувства», пишет кр. Кто из двоих додумался лезть за нашими яблоками, теперь установить невозможно. Однако же точно установлено, что отец уловил двенадцатикратный призыв «Услышьте глас мой и пробудитесь!» и, прихватив палку для гольфа, в три прыжка, «без пауз, последовавших друг за другом» (кр.), очутился у забора и посчитался с парочкой. Бетховен, слегка приукрасив, назвал этот эпизод «веселым времяпрепровождением крестьян», тогда как кр., уже несколько четче, толкует о «теме, выдержанной в порхающе-легком стаккато с кокетливыми форшлагами», о «мощном, мужественном крестьянском танце» и о том, что «рука мастера простыми средствами необычайно наглядно живописала буйство стихии, громы и молнии стремительной летней грозы».

Знатоки природы, вероятно, отметят, что цитата несколько чопорна и громоздка по сравнению с реальными происшествиями; гармония, до той поры присущая повествованию, здесь утрачивается, если учесть, что яблоки сорта «боскоп» поспевают, когда гроз уже и в помине нет. Однако же на следующем и заключительном этапе между цитатой и событием вновь воцаряется редкостная гармония: наказанные воришки отправились восвояси, а отец опять уселся в парикмахерское кресло, исполненный «радостных и благодарных чувств после бури» (Бетховен).

Такова история о музыкантском бунчуке и поющем дереве, которую я поведал, желая лишь доказать, что вообще-то отец всегда знал, как поступить, если в поисках главного (конечно же, золота) натыкался на вещи, казавшиеся другим людям совершенно несоединимыми с обычной жизнью.

Я уже слышу упрек, что отец мог бы пресечь кражу плодов и менее диковинными методами, привычными средствами — завел бы, скажем, собаку, и все бы живенько уладилось. Кто так говорит, только лишний раз доказывает, как мало он знает о моем отце и что покуда не разобрался в сути его натуры, а именно в том, что отец мой был артист, да вдобавок особого

свойства: способ действия был для него гораздо важнее самого действия.

Во избежание недоразумений скажу: он, конечно, был не настолько прост, чтоб перед дальней дорогой набивать рюкзак палками, а потом самолично вставлять их себе же в колеса; более того, я полагаю, что от золота, находкой коего увенчались его тяжкие труды, отец не отказался бы даже в том случае, если б это золото доставили ему на дом, но — а как раз к этому я и веду речь, говоря о его артистической натуре, — удовольствия он бы не получил.

Возьмите, к примеру — коли вам мало описания тягот, предваривших находку золота, и рассказа о бунчуке и поющей яблоне, — историю об украденной козе, которая лучше всех иных событий поможет ответить на вопрос, почему неумолимая логика жизни должна была привести отца к месту залегания драгоценного металла.

Коза в нашем хозяйстве занимала особое положение, хотя бы потому, что отец не нашел ее, а честь по чести приобрел, самым законным образом. Вовсе не желая давать слово некоему сомнительному теоретику, почитаю все же своим долгом сообщить, что теперь, когда от козы меня отделяет изрядный промежуток времени, мне легче говорить об этом создании без гнева. Тогда же я ненавидел ее, ибо не любил козьего масла, а между тем был вынужден не только есть оное, но и изготовлять его.

Не стану утомлять читателя, подробно описывая технологию изготовления масла — хоть я и не в состоянии уразуметь, чем козье масло хуже благородной стали или ячневой каши, — мне хочется только предпослать своему рассказу некоторые замечания, необходимые для понимания ситуации. Козье масло чуть ли не полностью окупалось ценой моего времени да силенок; иными словами, пока я был малолетним, оно не стоило почти ни гроша. Правда, чтоб получить его, требовались терпение и близкое знакомство с определенными законами природы. Один из этих законов гласит: жир всплывает кверху.

Постигнув этот секрет, я знай себе снимал сливки с молока, хранившегося в расписных, с синим узором фарфоровых мисках. Сливки я сливал в сосуд наподобие узкого деревянного бочонка высотой сантиметров сорок пять, в плотно пригнанную его крышку вставлялась круглая палка вроде черенка от метлы, с красивой текстурой, на нижнем конце которой была приделана дырчатая деревянная пластинка размером с обычную мелкую тарелку. Когда я вращал черенок, а значит, перемешивал сливки — притом довольно долго и в определенном ритме, каковой

создавался, если я напевал песенку со словами, ярко подчеркивавшими всю прелесть этого действа: «Я мутовочку верчу, скоро масло получу!» — то спустя ужасно долгое время и совершенно загадочным образом (всегда синхронно с болезненными мозолями на моих ладонях) в сосуде возникало масло.

Своего рода лишнее подтверждение тому, что материя не исчезает, а только видоизменяется.

И еще добавим для тех, кто не столь глубоко, как я, постиг законы природы и кого надо скорее спасать из болота невежества: энергия тоже не что иное, как одно из обличий материи. Вращая мутовку, я передавал свою энергию сливкам, сливки благодаря этому обращались в масло, каковым я затем питался, чтобы запастись свежими силами, а силы в свою очередь были мне потребны на то, чтобы вновь и вновь сбивать масло. Однако я, кажется, пустился в пространные рассуждения и ушел слишком далеко от подлинной сути своего рассказа, а именно от факта, что в один прекрасный день, к нашей вящей радости и облегчению, отец нашел золото. Но еще раньше у нас украли козу.

Мы бы, наверно, спокойнее перенесли утрату, если б что-то подсказало нам, как близок отец к своей цели. Однако же мы ни о чем не подозревали, вот и повесили носы. Даже я, хоть и ненавидел эту животину. Столь противоречива бывает жизнь.

За неделю до кражи отец растянул запястье. Правда, это еще не самое страшное, куда страшнее было бы поранить глаз — ведь тогда бы поиски золота неимоверно затруднились, — но тем не менее отец лишился возможности доить козу. А поскольку коза на дух не выносила мою мать, один из отцовских товарищей по работе — некий Корнелиус Байн — вызвался исполнять эту обязанность, два раза в день.

Трудился Корнелиус Байн самоотверженно. Платы он никакой не взимал, только что плотно завтракал перед утренней дойкой да душевно подкреплялся после вечерней. Минуты, проведенные на скамейке для доения, эти, по его словам, до боли редкие мгновения, когда он пребывал наедине с великим Паном, дарили ему сладостную муку близости с этим покровителем природы — разве можно желать большего?

Ну так вот, однажды он возжелал заполучить себе нашу козу и украл ее. Если б я писал детективную историю, то подобным заявлением все бы испортил; но я ведь хочу показать артистичность отцовской натуры и этим разоблачением лишь очищаю от докучливого вопроса эпический поток, который должен нести нас вперед, а не запутываться в дебрях неумелого

хищения собственности.

Короче говоря, однажды вечером козы не оказалось на том месте, куда ее привязали с утра, и, когда я заявился в дом не с козой на цепи, а с цепью без козы, мать тотчас потребовала вызвать комиссара уголовной полиции; отец, однако, и слышать о том не захотел. Все равно, мол, пришлют унтера, а эти находят у людей вроде нас только такие вещи, искать которые их никто не просил. Тогда мать сочинила объявление: «Просим уже опознанное нами лицо, похитившее козу, белую, с коричневым пятном в форме Малайского архипелага на правом боку…» Это предложение отец тоже отверг, но при упоминании о далекой островной группе на правом боку нашей козы его осенило. Он сказал, чтобы в течение ближайшего часа мы ни под каким видом не смели никому заикаться о потере, а сам он, дескать, должен кое-куда отлучиться, но непременно вернется к приходу Корнелиуса, который нынче после обеда поехал к зубному и поэтому на час запоздает. Мы все должны вести себя так, будто ничегошеньки не произошло.

Скоро отец вернулся и занялся чем-то в хлеву. Раз мне даже послышалось возмущенно-протестующее блеянье — только откуда бы там взяться козе?

Стоило мне подумать о Корнелиусе Байне, и я совсем расстроился. Ведь для него эта пропажа — куда более сильный удар, чем для меня, он-то в конце концов через козу общался с Паном, с покровителем природы, а уж как радовался, когда, используя пятна на козьих ребрах в качестве наглядного пособия, рассуждал о местоположении Молуккских островов, о флоре и фауне Зондского архипелага. Не далее как вчера он сказал отцу, что коза, должно быть, ушиблась, потому что взмемекнула от боли, когда он задел пальцем юго-западную оконечность Суматры.

Корнелиус Байн презрительно махнул рукой, когда я спросил, очень ли его мучил зубной врач, и направился к хлеву. Я еще раздумывал, не следует ли его все же осторожненько подготовить, а он уже открыл дверь. Да так и остановился — сперва прямо окаменел, а потом задрожал всем телом.

Ну, значит, увидал, подумал я и, глядя на его испуганно вздернутые плечи, пожалел, что не ослушался отца.

«Сколько же зубов тебе вырвали? — услыхал я отцовский голос. — Вон как побелел-то, аккурат козье молоко!»

Корнелиус буркнул в ответ что-то неразборчивое. Потом деревянной походкой вошел внутрь хлева.

И тут я увидел то же, что и он, — нашу козу. Она спокойно жевала резаную свеклу и стояла к нам правым боком, тем, с

Малайским архипелагом.

Я открыл было рот, чтоб спросить у отца объяснения этому удивительному обстоятельству, но он остановил меня одним из своих знаменитых взглядов, которые как нельзя более ярко доказывали его незаурядность.

Корнелиусу Байну потребовалось весьма много времени, чтобы усесться на скамейку, и не сразу руки его сумели ухватить протянутый отцом подойник. С глухим стоном он взялся за вымя — струйка молока брызнула в солому.

«Что стряслось?» — спросил отец, но Корнелиус только скрипнул зубами и продолжал доить. Потом он вдруг остановился, нагнулся к вымени, снова выпрямился и окинул животное таким взглядом, какой появляется у людей при виде того, что до сей поры казалось им невероятным.

«Ну-ка проверь, как там ушиб», — сказал отец.

Корнелиус Байн поспешно кивнул, будто ему посоветовали быстро ущипнуть себя за руку. Он прицелился указательным пальцем точнехонько в юго-западную оконечность Суматры и боязливо ткнул. Коза взвыла от боли. А Корнелиус Байн во всем сознался. Он подробно изложил замысел преступления и то, как его осуществил, рассказал, почему и каким образом увел козу, а главное — сообщил, где находится добыча. «Так ловко все придумал, — сказал он, — но где уж мне тягаться с чудесами».

Отец простер руки — теперь я не могу не признать, что здесь он немного хватил через край, — и приказал Корнелиусу Байну: «Ступай же туда, где ты спрятал неправедное добро, и верни его назад, в родные пенаты!»

Видя перед собою козу, Корнелиус Байн хотел было задать вопрос, однако вовремя спохватился, что о чудесах расспрашивать не след, и заковылял прочь, сломленный, но не утративший надежды.

Пока он ходил за нашей настоящей козой, отец с помощью горячей воды избавил чужую, взятую напрокат козу от Малайского архипелага и отвел ее к хозяевам — услужливым, хоть и недоумевающим соседям. И я могу подтвердить: он сделал все возможное, чтобы растолковать животному, зачем во имя торжества добродетели и морали так долго тер ему правый бок, что там образовалась ранка с талер величиной.

Я, конечно, допускаю, что оттенок поучительности, присутствующий в этом эпизоде, ни от кого не укрылся, — находчивые критики по праву выделят его заголовком «Так творят чудеса!» — но тем не менее нанесу обскурантизму еще один удар, сообщив, что происшествие в нашем хлеву снабдило Армию спасения материалом для популярной по сей день баллады «Чудо

Корнелиуса, или Как вора наставили на путь истинный» — хитро закрученного, туманного песнопения, в котором и речи нет о ведущей роли моего отца и о его артистической натуре.

С радостью вижу, что этим замечанием я вернул себе нить рассказа, которую, пожалуй, едва не упустил в тот самый миг, когда начал толковать об артистизме и искусстве. И это не случайно. Ведь искусство есть не что иное, как упорядоченные отступления от темы, а значит, раздумья и даже простое упоминание об искусстве опять-таки вводят в соблазн мысленно свернуть с путей традиции и общепринятости, и посему поводья с уздечкой тут куда нужнее, чем кнут да шпоры.

Занимающиеся искусством, равно как и критичные их попутчики, оказываются поэтому в наиболее выгодном положении, когда, говоря без затей, не уклоняются от сути дела. Дело моего отца было искать золото, а мое — рассказать об этом. Про похищение козы и кражу яблок, про яблони и бунчуки упомянуть можно, но они не должны застить нам глаза. Пусть останутся тем, что они есть, — второстепенными вещами.

Так вот, теперь я хочу без промедления, быстро и притом четко живописать, что же случилось в тот день, когда отец нашел золото. Помнится, я уже говорил, что все мы тогда очень обрадовались, но вроде бы не сказал, кто были эти «все мы». Первым долгом, конечно, моя мать, мои братишки с сестренками и я сам. Однако многие соседи от души разделили нашу радость. И прежде других я назову фрау Милам, в чьей собственной жизни отродясь не было ничего сколько-нибудь ободряющего, так что никто бы и не подумал обижаться, если б из-за отцовской находки она позеленела от зависти. О, судьба изрядно ее потрепала!

Ни один из тех, чья профессия — развлекать себя и других, выясняя обстоятельства жизни людей, облекая результаты поисков в слова и запечатлевая их на бумаге, — ни один из них не устоит перед соблазном, какого преисполнена фраза наподобие вот этой: «О, судьба изрядно ее потрепала!»

Стоит она себе и стоит, точно темноволосая красавица, скрестив руки на груди; ноги у этой красавицы фразы длинные, стройные, бедра гибкие, а грудь — ну чисто магнит, даром что не из железа. Где уж тут пройти мимо.

Вот вам и оправдание, а ежели не оправдание, то по крайней мере мотивировка, она-то и послужит намордником для моей совести, коли я сейчас в пику всем добрым намерениям быстренько расскажу и о фрау Милам и только потом продолжу речь о находке и доведу ее до конца. Но, наверно, выгоднее будет предоставить слово самой фрау Милам. Она так часто рассказывала о трагических событиях своей жизни, что описания

отдельных происшествий сыплются с ее губ, точно гладко обкатанные камешки; она лучше знает, что важно, а что нет, и тому, кто превыше всего ценит афористическую краткость, не грех и поучиться у нее.

Фрау Милам (это последнее, что я еще обязан сообщить) была в то время, когда я услышал от нее нижеследующий рассказ — а случилось это за несколько дней до отцовской золотой находки, точнее не скажу, ибо колумбовский триумф отца заставил померкнуть все предшествующее, — фрау Милам была в ту пору унылой пятидесятилетней особой. Вообще-то болтливостью она не страдала, но было два слова, которые неизменно приводили ее в лихорадочное возбуждение и делали крайне говорливой. Это — «решительность» и «нерешительность».

Достаточно было обронить любое из этих слов, безразлично в каком контексте, — фрау Милам тотчас его подхватывала и брезгливо отбрасывала прочь, говоря при этом:

«Ничегошеньки я в этом не нахожу ничегошеньки. Решительность ерунда и нерешительность ерунда уж я знаю что говорю. Из-за нерешительности можно прозевать то что до смерти хочется иметь и решительность опять же иной раз подсовывает такое чего тебе и даром не надо. Нерешительность может человека угробить и решительность тоже. Взять к примеру меня я всегда была решительная а вот встретила нерешительного потому у нас с ним ничего и не вышло. Ведь в один прекрасный день появился паровоз. Все и пошло насмарку потому как мы сидели в автобусе и он никак не мог решиться. Когда паровоз-то появился все кончилось а из решительности вовсе получилось такое что оторви да брось. А уж как я его любила кабы не его нерешительность мы б и сейчас еще счастливы были я конечно не хочу этим сказать что счастье идет от решительности. Остерегусь я такое утверждать боже меня упаси. Человек-то о котором я толкую был почитай решительно самым нерешительным из всех кого я знавала и ежели бы мы тогда сидючи в автобусе не повстречали паровоз разве я когда б задумалась о решительности да нерешительности как вот теперь разве стала бы говорить что и то и другое гроша ломаного не стоит. Человек которого я так любила да и он тоже меня любил это я могу доказать так вот он был до того нерешительный что даже не решился сказать что любит меня а сказать было нужно и не затем чтоб я знала а чтоб могла ответить я мол тоже его люблю. Вот паровоз и отплатил ему за нерешительность и со мной тоже расквитался отдал на произвол решительности. Он человек которого я так любила и в остальном нерешительность сплошь да рядом проявлял из-за этого мы с ним даже не танцевали ни единого разу ведь пока он

решится меня пригласить другие давно тут как тут а уж паровоз который подкатил когда мы в автобусе сидели всему конец положил. Автобус-то на рельсах стоял и не двигался с места а паровоз двигался да еще как и прямиком на нас. Другие пассажиры были не такие нерешительные как тот кого я любила они все решительно выскочили наружу когда паровоз еще на порядочном расстоянии находился, но тот человек с его нерешительностью все стоял возле двери паровоз мчится на автобус а он никак не решит прыгать ему первым или меня вперед пропустить. Наконец он порешил разделаться с нерешительностью и пропустить меня да уж ясное дело опоздал потому как я просто-напросто взяла и не дожидаясь его решительно вылезла из автобуса это я точно могу сказать а паровоз был уже близко-близко вот как вы сейчас. А человек которого я любила остался в автобусе потому-то наш роман который толком так и не начался из-за его дурацкой нерешительности теперь раз навсегда закончился что и привело меня к такому вот выводу насчет нерешительности. Но если вы думаете что человек которого я так любила решился бы извлечь урок из своей нерешительности то вы совершенно не поняли до какой степени он был нерешителен. И когда мы все опять сели в автобус он так и не решился сказать словечко про любовь хотя и одного словечка хватило бы при моих-то чувствах. Потом автобус спокойненько поехал дальше с ним ведь ничего не случилось потому что паровоз затормозил аккурат в двух шагах от него а через неделю-другую я скоропалительно вышла замуж притом как вы можете догадаться за машиниста очень уж он был решительный и мне теперь наверняка незачем говорить почему я ни в грош не ставлю решительность. Вы поди знаете моего мужа».

Я так споро да бойко сумел записать все услышанное от фрау Милам, и так это складно текло из-под пера, что теперь меня грызет червь сомнения: а допустимо ли в наши дни писать иначе, нежели привыкла говорить фрау Милам. Дыхание современности коснулось меня, и наивность, с коей я обыкновенно создавал свои фразы, подбирал слова и расставлял знаки препинания, понесла урон, если не погибла вовсе. Разве пишущий может претендовать на эпитет «современный», коли пишет не так, как писали в прошлом, в давным-давно минувшие времена? От сего ли ты мира, ежели пользуешься его установлениями? Не угодишь ли в разряд безнадежно отсталых, коли сбросишь тесную холщовую хламиду лексикона предков и перестанешь усматривать в их словесной бедности подлинную добродетель? И уж не хоронит ли себя, еще не родившись, тот, кто ручается за какое-нибудь дело да еще нахваливает его, вместо того чтобы сказать: и это ерунда, и

другое тоже ерунда — к примеру, решительность и нерешительность или какой иной дедовский анахронизм? Я, который сел за стол и, преисполненный наивности, написал: «Когда отец нашел золото, все мы очень обрадовались», я, вот только что полагавший разного рода бунчуки да поющие яблони достойными упоминания, я, который стремился к поучительности, столь подробно рассказывая о краже козы, я, мечтавший растрогать читателя повестью об отцовских трудах и искренне собиравшийся написать такую старомодную вещь, как роман, — я растерялся. И хочу сесть и попробовать забыть о золоте и о нашей радости, а еще хочу приложить все свое старание и придумать другую, совсем-совсем новую историю — не слишком многословную, без морали, без запятых, без заглавных букв. А напоследок взмахну еще раз серебристо-голубым платочком воспоминания и повторю: «Когда отец нашел золото, все мы очень обрадовались».

Перевод Н. Федоровой

Послесловие

Настоящая книга продолжает знакомство советского читателя с творчеством Германа Канта — одного из крупнейших мастеров художественного слова Германской Демократической Республики. Со второй половины пятидесятых годов и по сегодняшний день Г. Кант находится в рядах литераторов, занимающих самые активные позиции в политических и эстетических битвах современности, в числе лучших писателей, формирующих общественное мнение и общественный климат страны.

Известность Г. Канта в Советском Союзе началась в 1968 году, когда в журнале «Иностранная литература» был опубликован роман «Актовый зал», получивший широкое признание. Наши читатели хорошо знают и его последующие романы — «Выходные данные» и «Остановка в пути». Гораздо меньше мы знаем Г. Канта как рассказчика и публициста. А между тем малые жанры — важная и неотъемлемая часть его творчества, с них он начинал, к ним неизменно возвращается. Верность «малой прозе» объясняется не только естественным стремлением к жанровому разнообразию, истоки ее в самой личности писателя, в особенностях его взгляда на жизнь, на задачи литературы.

Несколько лет назад Г. Канта, к тому времени уже председателя Союза писателей ГДР, спросили, как ему удается совмещать профессию писателя и общественную деятельность. Он ответил тогда, что не мыслит себе одно без другого. В 1976 году в специальном номере журнала «Вопросы литературы» — «Писатели в борьбе за мир» — Г. Кант подчеркнул: «Мне думается, что литература — это не только мастерство *языка,* она должна оставаться и искусством *убеждения:* убеждать людей быть благоразумными и миролюбивыми — это тоже ее задача. Литературное произведение, способное удержать нас хоть на минуту от равнодушия и трусости, — это уже шедевр! Не знаю, можно ли так говорить о самом себе, но рискну: я целиком и полностью политический, социалистический писатель». Внимательные читатели Г. Канта давно убедились, насколько полемичны его произведения по сути, как глубоко и органично входят в их художественную ткань элементы публицистики.

Чувство актуальности у Канта изначальное, прирожденное, такое же, как, скажем, у Гейне — одного из величайших немецких писателей и публицистов, у которого Г. Кант на первых порах многому научился. Напомним эпиграф писателя к роману «Выходные данные», взятый из «Французских дел» Гейне: «Сейчас самое главное — современность, и характер заданной ею темы…

определяет все, что будет написано в дальнейшем…» Прозу Гейне и Канта роднит безошибочное понимание, что из всего происходящего в мире в данный момент наиболее злободневно. Прозу Гейне и Канта роднят авторские отступления, побочные и как будто бы случайные реминисценции, которые на поверку оказываются теснейшим образом связанными с главным замыслом; дар афористической меткости выражения, глубоко диалектичного хода мыслей и зачастую неожиданного, а потому и особенно неотразимого их воздействия. Кант хорошо различает, что действительно помогает и что заметно вредит успешному строительству нового общества в ГДР, что служит на пользу и что приносит ущерб делу мира и прогресса.

Этот год для Германа Канта по-своему юбилейный, четверть века назад, в 1957 году, в литературном приложении к «Нойес Дойчланд» был напечатан его памфлет «Политический курьер», а журнал «Нойе дойче литератур» опубликовал его первые рассказы «Маленькая шахматная история» и «Коронация». Эти произведения помогли автору почувствовать уверенность в своих силах, во многом определили направление его творчества.

В нашу книгу вошли рассказы из сборников «Кусочек южного моря» (1962), «Переход границы» (1975), «Третий гвоздь» (1981) и несколько эссе. Они представляют, разумеется, лишь небольшую часть «малой прозы» Г. Канта. Книга названа «Объяснимое чудо», и название это символизирует одно из важнейших направлений творчества и общественной деятельности писателя, отдающего много сил и энергии укреплению дружбы и взаимопонимания между советскими людьми и гражданами Германской Демократической Республики. Слово «чудо» не надо понимать буквально, ибо для того, чтобы оно произошло — не устает подчеркивать Кант, — потребовалось мужество и героизм миллионов советских людей, отдавших свои жизни ради освобождения родины и всего человечества от «коричневой чумы» фашизма. «Таков ход истории, — пишет Кант, — связи и переплетение мотивов, смена ролей и функций, сложение беспредельных сумм. Те, на кого напали, поруганные и измученные, стали освободителями и освободили не только самих себя, но и нас. Мне кажется, мы поняли многое из того, что натворили в истории и что в ней произошло с нами. Поэтому дружба нашего и советского народов представляется нам столь удивительной». Размышляя об истоках этой дружбы, выявляя ее неповторимый феномен, ставший возможным лишь в наше время, писатель приходит к важному выводу: «Это исторический процесс, корни которого следует искать в идеях и принципах социализма». Теме социалистического интернационализма и

дружбы двух братских народов посвящены очерки «Объяснимое чудо», «История и предыстория».

В произведениях Канта большую роль играет автобиографический момент, писатель активно использует личный опыт. В романах и рассказах можно выделить три временных пласта, особенно дорогих ему. Довоенное детство, показанное в рассказах «Кусочек южного моря», «Коронация», «Золото», «В разгар холодной зимы», во многих эпизодах романа «Остановка в пути». (Напомним, что писатель родился в 1926 году в семье садовника, отказавшегося впоследствии вступить в национал-социалистскую партию и потому оставшегося без работы.) Поэтизация детства соединяется с ретроспективным взглядом на эпоху тридцатых и начала сороковых годов как на время «обыкновенного фашизма» в его, так сказать, провинциальных проявлениях. Действие, как правило, происходит в небольшом городке на севере Германии. Далее годы, проведенные писателем в лагере военнопленных в Польше, где пробудилось и сформировалось новое политическое сознание бывшего солдата вермахта и Кант, двадцатилетиий юноша, приобщился к антифашистской борьбе. Эта тема — во многих эссе Канта, рассказах «Маленькая шахматная история», «На дороге», «Жизнеописание. Часть вторая» и прежде всего, конечно, в романе «Остановка в пути». И наконец, третий временной пласт, наиболее значительный, — это послевоенная действительность ГДР. Ей посвящены «Актовый зал», «Выходные данные», публицистика и рассказы. Не случайно в недавней рецензии в «Зоннтаг» на том избранной публицистики писателя «В дополнение к анкете» (1981), говорится: «Публицистика Германа Канта — живая и неотъемлемая часть нашего осознания исторического и литературного развития ГДР». Справедливость этого утверждения только возрастет, если распространить его и на художественное творчество писателя.

Особенно актуальными представляются раздумья писателя о нашей современности, поражает его нравственная зоркость, умение оценить позитивные стороны общественного развития ГДР и не обходить при этом другие симптомы и явления. Глубинные, коренные изменения в психологии человека и общества, подчеркивает Кант, происходят далеко не всегда так быстро, как хочется, как это иногда кажется некоторым, чересчур оптимистично настроенным, писателям. В результате появляются легковесные произведения, не вскрывающие подлинных глубин жизни.

Пристальное внимание к человеческой личности, стремление глубоко рассмотреть ее духовный мир — неотъемлемая черта

литературы развитого социалистического общества, особенно четко выявившаяся в семидесятые годы. Как и многие другие писатели, Кант в семидесятые годы более пристально стал изучать явления, тормозящие наше продвижение вперед; его взгляд стал острее и критичнее. В эти годы ярко раскрылось художественное дарование Канта — юмориста и сатирика. Рассказы «Праздничная лепта», «Третий гвоздь», «Вакантное место» хорошо представляют эту сторону творчества писателя.

Герман Кант берет сюжеты прямо из жизни, из непосредственно пережитого, но обогащает их творческим воображением и переосмысливает как подлинный талант. Правда, далеко не всегда он «укрывается» за своими образами, некоторые рассказы его откровенно публицистичны. Но это неотъемлемая часть его эстетической и гражданской позиции. «Одного социалистического содержания окружающей нас жизни, — подчеркивает писатель, — еще недостаточно для того, чтобы люди проявили готовность разумно изменяться, если это содержание не сочетается с постоянной готовностью защищать то, что завоевано и испытано временем». И мысль, что нетерпимость к недостаткам и критика отдельных негативных явлений не самоцель, а лишь один из действенных методов укрепления социалистического уклада жизни, эту мысль писатель не устает подчеркивать, постоянно различая конструктивную критику и мелкобуржуазный критицизм. В идейном плане очень важен рассказ «Приход и уход» — бесхитростное (и во многом основанное на подлинных фактах) изложение выступления молодой женщины — нового бургомистра Барске — перед старшеклассниками, вступающими в совершеннолетие. Речь идет о преемственности трех, а точнее, четырех поколений жителей деревни, преемственности, которая характеризует смысл социальных преобразований в ГДР. Первое поколение представлено всего лишь одним человеком — на протяжении двадцати пяти довоенных и военных лет он был единственным коммунистом и антифашистом в деревне. Этого человека не могли заставить отступиться от его политических убеждений ни побои, ни унижения, ни концлагерь. «Хуже всего было одиночество», — вспоминал коммунист (не названный в рассказе по имени) впоследствии, когда уже в качестве депутата народной власти участвовал в строительстве новой — демократической и социалистической — Германии. В рассказе отчетливо ощущается перспектива: прослеживая историческую преемственность поколений, писатель видит позитивное движение истории. «Да, дорогие друзья, несколько лет назад он умер, этот человек, который двадцать пять лет подряд был единственным

коммунистом в Барске, и утешить нас может только то обстоятельство, что в Барске уже давным-давно коммунистов гораздо больше, чем один».

Способность Г. Канта никогда не терять из виду подлинную историческую перспективу — отличительная черта настоящего коммуниста и интернационалиста. Значительна роль писателя в полемике с нашими идеологическими противниками — Г. Кант регулярно выступает в печати ГДР с политическими фельетонами, принимает участие в международных дискуссиях, но может быть, еще важнее значение его как воспитателя под-растающего поколения интеллигенции ГДР, как руководителя творческой организации писателей. «Я, как и прежде, безоговорочно убежден в том, — подчеркнул в одном из последних интервью писатель, — что все достигнутое, возникшее в ГДР за тридцать лет, следует рассматривать как великое свершение, как результат множества великих и бесчисленного множества малых, но от этого не менее важных дел».

И в общественной деятельности, и в творчестве Кант твердо стоит на реалистических позициях, постоянно отстаивает их. Ему претят легковесный оптимизм, бравирующее фразерство, прекраснодушные мечтания. «Литература живет опытом и предвидением, и она стремится устранить иллюзии», — подчеркивает писатель. Произведения последних лет свидетельствуют не только о его возросшем мастерстве, но и о развитии его философских и эстетических взглядов, об углублении концепции человека и общества, концепции социалистической личности. Герман Кант вступил в пору высшего творческого расцвета. Пожелаем писателю дальнейших дерзаний и свершений!

А. Гугнин

Об авторе

ГЕРМАН КАНТ (родился в 1926 году), председатель Союза писателей ГДР, лауреат Национальной премии, премии Г. Гейне, Г. Манна и других литературных премий, известен советскому читателю как автор романов "Актовый зал" (1964), "Выходные данные" (1969), "Остановка в пути" (1977). В своем предисловии к последнему роману Г. Канта Константин Симонов отмечал стремление автора"… не оставить не отвеченным ни одного из вопросов, которые он решил задать себе и другим…", писать"… безсантиментов, без розовых красок, без стирания острых углов". Эти слова с полным правом могут служить характеристикой и для новелл Германа Канта. Стремление ответить на все вопросы, поставленные нашим временем, самой жизнью, поиск правды в большом и малом — вот, пожалуй, основа пафоса всего творчества писателя.

notes

Примечания

1

Популярная австрийская оперетта.

2

Председатель земельного совета (до 1952 г.).

3

В русском переводе «Цветы сливы в золотой вазе, или Цинь, Пин, Мей», М., Гослитиздат, 1977.

4

Намек на Мартина Лютера, который выступил против злоупотреблений католической церкви и свои обвинения — 95 тезисов — прибил к дверям церкви в Виттенберге. «Виттенбергекий соловей» — прозвище Лютера.

5

Намек на пьесу П. Хакса «Колумб, или открытие индийской эры».